

АГОНИЗИРУЮЩАЯ
СТОЛИЦА



ДМИТРИЙ ШЕРИХ

КАК ПЕТЕРБУРГ
ПРОТИВОСТОЯЛ СЕМИ
СТРАШНЕЙШИМ ЭПИДЕМИЯМ

ХОЛЕРЫ



Дмитрий Юрьевич Шерих Агонизирующая столица. Как Петербург противостоял семи страшнейшим эпидемиям холеры

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=8587362

*Шерих Д. Агонизирующая столица. Как Петербург противостоял семи страшнейшим эпидемиям холеры: Издательство Центрполиграф; Москва; 2014
ISBN 978-5-227-05355-8*

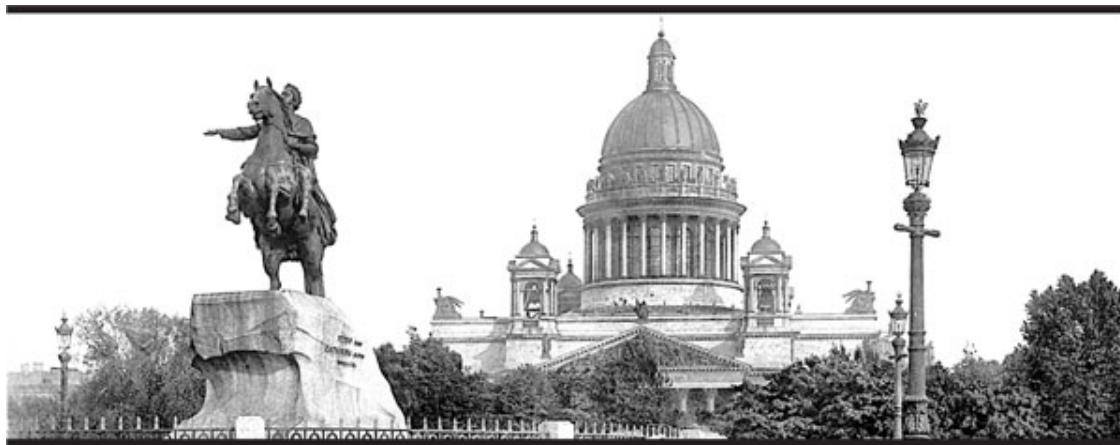
Аннотация

Холера и сегодня – смертоносная болезнь, но в российских столицах, Петербурге и Москве, эта «азиатская гостья» не появлялась уже очень давно. А когда-то ее приход полностью менял ритм жизни горожан, их повседневный быт: они обряжались в набрюшники, старались не выходить на улицу натошак, обтирались оливковым маслом и принимали всякие другие меры, дабы не попасть в быстро растущие скорбные списки. Везло не всем: семь петербургских холерных эпидемий унесли жизнь семидесяти тысяч горожан; в числе жертв недуга оказались великие Карл Иванович Росси и Петр Ильич Чайковский.

Обо всем этом и идет речь в новой книге известного журналиста и историка, лауреата Анциферовской премии Дмитрия Шериха. Перед читателем пройдет вереница имен тех, кто погиб, кто выжил, и тех, кто с эпидемиями сражался; в книге представлены самые значимые холерные адреса Петербурга, приведены многочисленные свидетельства мемуаристов.

Содержание

От автора	5
1777–1830 годы. Пролог	6
1831 год	12
Начало	12
Холерный бунт. Государь на Сенной	22
1831–1832 годы. «Теперь народ верит холере и ужасно ее боится»	36
Конец ознакомительного фрагмента.	37



Дмитрий Шерих
Агонизирующая столица. Как
Петербург противостоял семи
страшнейшим эпидемиям холеры

© Шерих Д., 2014

© ООО «Рт-СПб», 2014

© ЗАО «Издательство Центрполиграф», 2014

* * *

От автора

Болезнь мы все не любим; а уж когда в город приходит серьезная эпидемия, стараемся принять все возможные меры, чтобы избежать недуга. Гриппа, например. Но счастье современного петербуржца: в отличие от горожан былых времен, он даже и не знаком с такими страшными напастями, как эпидемия тифа, чумы или холеры.

Поистине страшными. В летописях петербургской старины эти эпидемии оставили неизгладимый след. Та же холера: по самым приблизительным прикидкам, жертв ее за годы петербургской истории насчитывается не менее семидесяти тысяч. По сути, вся численность населения современного Петергофа!

И сколько самых звучных, знаменитых имен было отобрано у Петербурга, у России холерными эпидемиями! Про страшную кончину Петра Ильича Чайковского помнит, наверное, всякий образованный горожанин, но многие ли знают, что в перечне жертв петербургской холеры – живописец и создатель «Явления Христа народу» Александр Иванов, балерина Авдотья Истомина, художник-декоратор Пьетро Гонзаго, архитекторы Карл Росси и Адам Менелас, пианистка Мария Шимановская, славянофил Иван Киреевский, герои Отечественной войны 1812 года генералы Александр Ланжерон и Василий Костенецкий, мореплаватели вице-адмирал Василий Головин и адмирал Гаврила Сарычев?

Семь холерных эпидемий пережил Петербург, 32 холерных года – и каждый приход «азиатской гостьи» накладывал ощутимый отпечаток на повседневную жизнь города. Александр Васильевич Никитенко, известный деятель российской культуры, во время первой холеры, в 1831 году, горько отмечал: «Город в тоске. Почти все сообщения прерваны. Люди выходят из домов только по крайней необходимости или по должности».

И он же немногим позже записывал: «Из нескольких сот тысяч живущих теперь в Петербурге всякий стоит на краю гроба – сотни летят стремглав в бездну, которая зияет, так сказать, под ногами каждого». Не очень-то и преувеличивал Александр Васильевич.

А на краю этой бездны – волнения и тревоги горожан, знаменитый бунт на Сенной площади, заставивший императора Николая I обратиться с речью к народу, активная деятельность столичных врачей, нередко рисковавших жизнью, чтобы спасти своих занемогших пациентов, строительство новых лечебниц, создание специальных холерных кладбищ, да и много еще других событий.

Холера – это целый пласт петербургской истории, очень значительный, и даже странно, что до сих пор ей еще не посвящали книг. Публикации о петербургских холерах, конечно, случались – но по большей части фрагментарные. О бунте 1831 года, например, о санитарных и врачебных мерах, предпринимавшихся в северной столице.

Вот, наконец, книга завершена. Не сугубо медицинская, хотя и врачебным аспектам борьбы с холерой автор тоже постарался уделить должное внимание. Главное здесь – это повседневная жизнь города, атакованного холерой. Быт горожан, захваченных вначале врасплох новой страшной угрозой, а затем уже – по истечении месяцев и лет – к ней вполне привыкших, и даже оборачивающих эту угрозу в шутку, как газета «Петербургский листок» в 1909 году, напечатавшая под рубрикой «Обыкновенная история» короткий скетч:

«– Сестра моя заболела тифом, а попав в больницу, заразилась холерой.

– А моя сестра заболела холерой, а попав в больницу, заразилась тифом».

Летопись петербургской холеры – это имена (тех, кто погиб, кто выжил, и тех, кто с эпидемиями сражался), это адреса (в том числе холерных лазаретов и кладбищ), это многочисленные свидетельства мемуаристов, это истории горя и радости.

Человеческие истории, которые и сегодня, спустя десятилетия, не оставляют равнодушными.

1777–1830 годы. Пролог

Шевалье Мари Даниель Буррэ де Корберон, французский дипломат при дворе императрицы Екатерины II, многие свои мысли и наблюдения поверял бумаге. Практически ежедневно. Благодаря этому мы знаем, что среди событий, озаботивших его в феврале 1777 года, была неожиданная и весьма сильная болезнь лакея Гарри. Слег тот в среду, на другой день недуг усилился, а к воскресенью развилась сильная слабость – и некоторые служащие французской миссии начали уже ожидать худшего.

Можно предполагать – да простит читатель за натуралистическую подробность, в этой книге не последнюю, – что болезнь его сопровождалась многократным поносом, рвотой, сильным обезвоживанием и общим упадком сил.

К счастью, все обошлось: «На другое утро Гарри стало лучше и у нас родилась надежда спасти его от страшной болезни, потому что у него была холера (*cholera morbus*)». Видимо, и в самом деле спасли, поскольку других записей о болезни лакея в дневнике шевалье Корберона нет.

А для нас в этой записи особо примечательны слова, которые тогда были мало знакомы петербуржцам, но полвека спустя стали звучать для них похоронным маршем. *Cholera morbus*, она же (в дословном переводе) «болезнь холера»: кажется, это первое упоминание о ней в петербургских анналах. Сегодня и не скажешь, был ли лакей в самом деле болен этим грозным недугом, или подхватил лишь что-то похожее на холеру: сам шевалье медицинского образования не имел, а петербургские эскулапы вряд ли сталкивались на практике с этой болезнью. Однако название прозвучало, и считать диагноз французского дипломата совсем уж невероятным не стоит: холера к тому времени не одно столетие собирала обильную жатву в Индии и сопредельных странах, забираясь иногда и в Европу – известно, что еще в XVII столетии англичане фиксировали ее вспышки. Да и в Отечестве нашем эпизоды случались: зафиксировали холерные случаи в 1745 году в Казани, в 1766-м в Саратове. Отдельные случаи, не эпидемии.

Вот и в петербургском случае, кажется, обошлось единичным эпизодом. Больше полвека оставалось до того момента, как столице Российской империи пришлось столкнуться с этой болезнью. Во весь ее рост.

Но в 1777 году, да и после него, о масштабных холерных эпидемиях в Петербурге не думали вовсе. И даже когда в 1817 году по миру покати́лась первая холерная пандемия – страшная, охватившая не только страны азиатские, но проникшая в другие части света, унесшая сотни тысяч жизней, – о ней тогда писали по большей части в специализированных изданиях. Писали как о чем-то весьма экзотическом и отдаленном. В 1823 году, например, столичный «Военно-медицинский журнал» опубликовал «краткое наставление о способе пользования эпидемической болезнью холеры с указанием ее припадков», извлеченное из трудов некоего Давида Карбинского, служившего врачом в Индии при британских войсках. В этом тексте среди прочего высказывалось убеждение, что холера – болезнь не прилипчивая, от больного к больному не передается.

Шевалье де Корберон, наверное, тоже с этим мнением согласился бы: не случилось же в его доме новых заболеваний! Согласились с ней и многие российские врачи, а потому когда в том же 1823 году холерой массово заболели служащие Астраханского порта – первый визит пандемии на территорию России! – особых мер предосторожности в обращении с больными не предпринималось.

Впрочем, и в первую пандемию нашлись те, кто верно оценил происходящее. Французский путешественник и ученый Александр Моро де Жонес, изыскания которого представил русской публике *Journal de Saint-Petersbourg*, суммировал свои наблюдения так: *cholera*

morbus «пристает к людям всякого возраста и пола, всякого поколения и темперамента», «не зависит от свойства температуры атмосферной», «не есть следствие сырости», «не происходит от зараженной атмосферы» и «не приносится ветрами» («сие доказывается различными доводами, и именно наблюдением, что она весьма нередко распространяется в направлении противном течению ветра»).

Француз также заметил, что «она, протекая по степям и хребтам гор, распространялась людьми, находившимися в армиях или в обществах пилигримов и пребывавшими на зачумленных военных или купеческих кораблях, также караванами и отдельными путешественниками».

Отсюда вывод: болезнь эта «есть заразительная и сообщается от одного человека другому, но по особенным, нам еще неизвестным законам».

Всерьез тревожить петербуржцев холера начала в 1830 году, когда вовсю шел ее губительный марш по территории России. То была уже вторая пандемия: снова холера началась в Азии, снова начала оттуда перебираться в сопредельные страны. Южными губерниями России шествие не ограничилось: холера двинулась в центральные – Саратов, Тамбов, Пензу, Вологду, Москву. Везде создавались чрезвычайные комиссии, назначенные бороться с «азиатской гостьей»; в августе 1830 года император Николай I распорядился создать и центральную комиссию для пресечения холеры под управлением министра внутренних дел Арсения Андреевича Закревского. Карантинные меры, применявшиеся на местах, ожидаемого результата не принесли, да оно и понятно: в тогдашнем исполнении они были попросту неэффективны.

Случался, однако, эффект обратный: в июне 1830 года, например, в Севастополе при попытке выселить жителей в карантинный лагерь вспыхнул бунт. В ноябре того же 1830 года в Тамбове разгневанная толпа сняла все караулы на въезде в город, разгромила холерную больницу и подвергла личным оскорблениям местного губернатора Ивана Семеновича Миронова. Жесткость санитарных мер только подстегивала гнев и панические настроения людей, дотоле холеры не видевших и винивших во всем злонамеренных отравителей, врачей и местное начальство. «Нет холеры! Какая там холера! Морят да разоряют только!.. Прочь ее!.. Не надо нам холеры!..»

Вскоре, впрочем, Комитет министров счел карантин лишены смысла, «ибо оные, быв сами по себе весьма стеснительны, не могут способствовать к прекращению холеры, тем паче, что болезнь сия сообщается более посредством воздуха, нежели чрез прикосновение», – и это несколько сгладило остроту ситуации.

Власть, как видим, не только закручивала гайки, но и делала ставку на изучение новой напасти. При комиссии Закревского был образован особый Медицинский совет, первой задачей которого было составить рекомендации. К работе совета привлекли, в числе прочих, выдающихся терапевтов Иустина Евдокимовича Дядьковского и Матвея Яковлевича Мудрова.

Первым делом члены совета высказали мнение о латинском названии болезни: «Сие название Cholera morbus гораздо лучше уничтожить совсем; потому, что оно невольно заставляет предполагать существование какого-то противного состояния Cholera sanitatis».

Латынь из моды вышла ныне, поэтому проясним мысль: коли есть «Холера болезнь», то должна бы быть и «Холера здоровье» – а поскольку таковой нет, то и...

Впрочем, ход мыслей выдающихся терапевтов современники не оценили: словосочетание Cholera morbus продолжило свое восхождение к вершинам известности.

В своем «Трактате о повально-заразительной болезни холере» Медицинский совет собрал воедино все существовавшие тогда точки зрения на эту болезнь. Таковых оказалось равным счетом семь:

«Мнение, полагающее причину сию в миазматическом качестве воздуха»;

«Мнение, принимающее за причину сию особенную холерную заразу, сообщаемую больными холерою здоровым людям»;

«Мнение, допускающее только местно-условную заразительность сей болезни, как причину, способствующую распространению холеры»;

«Мнение, признающее причину сию во вредоносной порче плодов, овощей и зернового хлеба, происходящей от острых рос и туманов»;

«Мнение сложное, полагающее причину сию в ошутительном порочном качестве воздуха и вместе в сказанной порче плодов и овощей»;

«Мнение, предполагающее за причину сию, с одной стороны, непосредственное переползание, а с другой – перенос ветром от больных людей к здоровым людям особенного рода микроскопических животных»;

«Мнение, допускающее падение таких же микроскопических животных на людей из воздуха».

Острые росы и туманы, вредоносная порча зернового хлеба, порочное качество воздуха: эти пункты напоминают нам, на каком уровне находились тогда знания о холере. Нетрудно заметить также, что версии номер два, шесть и семь, несмотря на некоторые забавно звучащие формулировки, близки друг к другу. Сам Медицинский совет, как было твердо заявлено в «Трактате», считал бесспорным мнение номер два. С многозначительной, однако, и многословной оговоркой: «Зараза холерная, подобно как и все прочие заразы, есть ни что иное, как произведение самого больного организма. Истина сия так со всех сторон явна, что в настоящее время не подлежит уже ни малейшему сомнению. Но в чем состоит ее сущность? – Сего объяснить мы доселе не можем. Хотя некоторые, как мы уже видели, сущность заразы сей совершенно определительно принимают за собрание каких-то микроскопических животных; но считать такой ответ удовлетворительным, значило бы дать обязательство на безоговорочный прием и всякого другого также произвольного предположения. Поищем другого, более основательного, сообразного с настоящими нашими сведениями о натуре вещей и человека».

Искать пришлось еще долго: через все XIX столетие тянутся дискуссии о холере, в которых горячее участие принимали ученые большинства европейских стран, включая и Россию.

Только нащупывался тогда и путь лечения холеры, и на сей счет единого мнения у членов Медицинского совета не было: «Медицинский совет долгом считает объявить, что противувоспалительный способ врачевания холеры (*Methodus antiphlogistica*), принятый большинством членов Совета при Центральной комиссии, безусловно одобряем быть не может. Способ сей, без сомнения, требует значительных ограничений».

И еще одна яркая иллюстрация к тому, какая же сумятица царила тогда в головах самых лучших врачей. Справедливо отметив тот факт, что многие люди, кажущиеся не зараженными, на самом деле были заражены, только перенесли недуг легко (такую легкую форму холеры стали именовать «холериной») – члены Медицинского совета так и не сделали из него должных выводов. Не поняли, что именно такие «почти здоровые» зачастую и переносят холеру с места на место, успешно минуя карантинные посты и ускользая от присмотра врачей. А вот версию, согласно которой холера распространяется через фекалии, авторы трактата отметили: «Доселе мы не видим еще ни одного наблюдения, могущего подтвердить сие предположение».

Заблуждение, стоившее жизни многим россиянам. Петербуржцам в том числе.

Осознавая, впрочем, неполноту своих знаний, Медицинский совет инициировал конкурс врачебных сочинений о холере, пообещав за лучшее премию в размере 25 тысяч рублей государственными ассигнациями. К участию приглашались авторы не только из России, но и

из Германии, Венгрии, Англии, Швеции, Дании и Италии; сочинения могли быть написаны на русском, латинском, немецком, английском или итальянском языках.

Впрочем, конкурс – это еще будущее, а надо было распространять знания о холере срочно, здесь и сейчас. Одного «Трактата» для этого было мало, да и писался он в форме, мало понятной среднестатистическому читателю. Поэтому в самые первые дни осени 1830 года Матвей Яковлевич Мудров составил еще один текст: «Краткое наставление о холере и способ, как предохранять себя от оной, как излечивать ее и как останавливать распространение оной». Без специальных медицинских терминов, разумеется, не обошелся – но постарался сделать свой текст по возможности доступным.

Из этого сочинения современники могли узнать, что «холера есть весьма быстротечное, острое воспаление или флегмазия слизистой оболочки желудка и кишок, а потом и наружной оболочки оных; оттого сильный внутренний жар, нестерпимая боль, непрестанная рвота и понос; от сочувствия мозга и сердца пульс слабеет, силы упадают, происходят судороги в руках и ногах, поверхность тела холодеет и делается запор мочи».

Матвей Яковлевич предупреждал своих читателей, что Cholera morbus «весьма легко сообщается от прикосновения к трудно больным, и в особенности к умершим от оной; так же от вдыхания в себя воздуха, испорченного вредоносными испарениями и миазмами, отделяющимися из тел больных и умерших сею болезнью: и потому нельзя отвергать мер предосторожности, для карантинных назначенных».

(Про легко больных, как видим, ни слова.)

Чтобы не вгонять читателей в безнадежную тоску, Мудров заверял – вполне оптимистично, – что «холера при поданной во время надлежащей врачебной помощи весьма часто бывает излечима».

Поделился доктор и полезными советами для тех, кто мог стать потенциальными пациентами. Прежде всего общего гигиенического свойства: босиком не ходить, сырого и чрезмерно холодного не есть, держать тело в тепле и избегать простуды, а также «носить на животе по голому телу или по рубашке, кусок сукна, фланели или байки, дабы живот был тепел, и испарина, охладевшись, не падала на желудок и кишки и не произвела расположения к получению холеры, ибо в желудке и кишках собственно холера имеет свое пребывание». Состоятельным людям доктор Мудров советовал носить «из сих же материй на животе широкие пояса или набрюшники».

Первое упоминание слова «набрюшник» в этой книге; позже оно станет неотъемлемой приметой холерных эпидемий.

Если в дом уже пришла холера, Матвей Яковлевич настоятельно рекомендовал занемогших «отделять немедленно от здоровых в особую больницу или отдельную теплую комнату», ограничить их общение с окружающими, а при уходе за больными «намазывать руки каким-нибудь маслом, деревянным, постным, коровым или хотя простым салом».

Особое внимание Мудров уделял санитарной обработке «комнат и вещей, бывших в соприкосновении с больными холерою»: пол и стены он советовал опрыскивать «сделанным в холодной воде отстоянным раствором охлоренной извести, которую можно получать, самым лучшим образом приготовленную в Москве, из химической фабрики г. Карцова на Пресне» или другими аналогичными составами, больничные палаты окуривать специальными смесями несколько раз в день, «сим же составом окуривать в продолжение нескольких часов сомнительные платья и вещи, так же товары, привозимые из зараженных мест».

В общем, все уже знакомые жителям многих российских регионов карантинные меры.

Был и еще один совет: «Над покойниками псалтыри не читать; покойников выносить из дому на кладбище сколь можно скорее, и по выносе трупа окуривать сею смесью все комнаты и сени дома, в коем умер больной холерой».

Совет этот еще аукнется петербуржцам. Сколько будет в городе таких скорых похорон, когда родные не смогут толком попрощаться с ушедшими из жизни, и даже неперменный обряд отпевания будет попросту отменен – из страха перед холерой!

Впрочем, в начале сентября 1830 года петербуржцы лишь следили за приближением страшной гостии и даже не подозревали, какими несчастьями для столицы обернется ее визит. Александр Васильевич Никитенко, будущий цензор и академик Петербургской Академии наук, записывал в своем невероятно обстоятельном дневнике, что «ужасная болезнь холера-морбус» приближается и в столице растет тревога: «Болезнь сия, в самом деле, всего опаснее в большом городе: здесь настоящая ее жатва, а может быть, и колыбель. Притом климат петербургский и без того, особенно осенью, порождает много болезней».

В середине сентября 1830 года холера нагрянула в Москву, и этот месяц стал временем осознания: Cholera morbus в самом деле может явиться на берега Невы. Никитенко, 25 сентября: «Итак, мы не на шутку готовимся принять сию ужасную гостью. В церквах молятся о спасении земли русской; простой народ, однако, охотнее посещает кабаки, чем храмы Господни; он один не унывает, тогда как в высших слоях общества царствует скорбь. По московской дороге, в Игоре, учрежден род карантина, ибо вчера приехавший туда курьер умер, говорят, от холеры. Все спрыскиваются хлором, запасаются дегтем и уксусом. Везде движение. Жизнь, почуяв врага, напрягается и готовится на борьбу с ним. Но что действительно можем мы противопоставить холере? Бодрость духа, покорность необходимости».

Карантины отделили тогда Северную столицу от Первопрестольной; перекрыты были не только сухопутные пути, но и водные. В холерном карантине оказался и Александр Сергеевич Пушкин: то была знаменитая Болдинская осень. Письмо Петру Александровичу Плетневу из Болдино, сентябрь 1830 года: «Около меня колера морбус. Знаешь ли, что это за зверь? Того и гляди, что забежит он и в Болдино, да всех нас перекусает – того и гляди, что к дяде Василью отправлюсь, а ты и пиши мою биографию».

Наталии Николаевне Гончаровой, октябрь 1830 года, оттуда же: «Добровольно подвергать себя опасности среди холеры было бы непростительно. Я хорошо знаю, что всегда преувеличивают картину ее опустошений и число жертв; молодая женщина из Константинополя говорила мне когда-то, что только чернь (la canaille) умирает от холеры, – все это прекрасно и превосходно; но все же нужно, чтобы порядочные люди принимали меры предосторожности, так как именно это спасет их, а вовсе не их элегантность и не хороший тон».

О том, какие меры предосторожности Пушкин считал необходимыми и достаточными, сообщает нам другое его письмо, более позднее: «Не забывайте, что холеру лечат, как обычное отравление: молоком и постным маслом – и еще: остерегайтесь холодного».

Наивное, конечно, представление о страшной болезни, но вполне простительное: и врачи ведали тогда немногим больше.

К счастью, в конце осени 1830 года эпидемия в Москве пошла на убыль. Император Николай I навестил выздоравливающую Первопрестольную – и это немедленно воспел в своих стихах петербуржец граф Дмитрий Иванович Хвостов («поэт, любимый небесами»). Вначале он описывал страшное течение болезни:

Недуг – враг тайный человеков
Распространяет гибель вмиг,
Сугубя жар, ослабя нервы,
Течение сгущает крови.
Больной, почувствуя внутри
Страдание неизъяснимо,
Испустит яд и дух последний
На перси кровных и друзей.

Но затем торжественный, ликующий финал:

Невы от берегов гранитных
Оставя Царь любезных чад,
Петрополь, нежную Царицу
Спешит в стенащую Москву.
Он там... и вновь восторги внемлет.
И купно радости, рыданье,
Он змия зрит лицом к лицу,
Стремяся бодро вырвать жало.
Россия дух Царя великий
Вписала сердца на скрижаль.

Стихотворение это увидело свет в 1831 году в «Невском Альманахе» чиновника, издателя и писателя Егора Васильевича Аладьина.

Случаи заболеваний в Москве были и позже, даже в январе 1831 года – так называемый «холерный хвост», – но официально Первопрестольную признали освободившейся от болезни. Все карантинные меры сняли в начале декабря; свободное сообщение между столицами восстановилось.

И уже пошел обратный отсчет – полгода с небольшим, до начала первой в истории Петербурга холерной эпидемии.

1831 год

Начало

Из официального сообщения, увидевшего свет 17 июня 1831 года и напечатанного в качестве приложения к газетам «Санкт-Петербургские ведомости» и «Северная пчела»: «При первом известии о появлении холеры в Риге и в некоторых городах Приволжских приняты были все меры к ограждению здешней столицы от внесения сей болезни: по всем дорогам, ведущим из мест зараженных и сомнительных (равномерно и в Кронштадт), учреждены были карантинные заставы, все вещи, посылки письма, оттуда получаемые, подвергнуты рачительной окурке и т. д. — словом, сделано все возможное к предотвращению сего бедствия. Несмотря на все сии предосторожности, холера, по некоторым признакам, проникла в Санкт-Петербург».

Ригу холера атаковала весной 1831 года, унеся множество жертв. В столицу, впрочем, эпидемия явилась из Поволжья транзитом по водным путям; карантинные меры, теперь признанные вполне разумными, не помогли; о признаках пришествия холеры в официальном сообщении говорилось: «На прибывшем сюда из Вытегры 28-го минувшего Мая судне, называемом соймою, заболел 14-го сего Июня Вытегорский мещанин. Признаки его болезни были сходны с холерою, но при медицинском пособии он получил облегчение.

Того же числа, в 4 часу утра, в Рождественской части, в доме купца Богатова, работник живописного мастера подвергся всем признакам холеры и в 7 часов по полудни умер.

16-го числа заболели сими же припадками в частях: Рождественской будочник, Литейной ремесленник, 2-й Адмиралтейской маркер и в Артиллерийской госпитали школьник, из коих первые двое сегодня померли; вновь же заболели в Московской части 1, и в Литейной 1, — так что на сей день больных с признаками холеры осталось 4: из них 3 надежных к выздоровлению.

При сем случае Начальство столицы долгом поставляет свидетельствовать, что употребленные при подании помощи сим больным, полицейские и медицинские чиновники, поступали с примерным усердием и можно сказать, с самоотвержением.

Вот все, что доныне известно в сем отношении. Благомыслящие жители сей столицы могут быть уверены, что Правительство принимает все меры и средства к устранению и прекращению сего бедствия. От их усердного и ревностного содействия видам Высшей Власти, от верного и точного с их стороны исполнения благих распоряжений Начальства будет зависеть и достижение желаемой цели».

Невиданная откровенность официального заявления имела как минимум две причины. Одна была заявлена прямо в тексте: государь император, «поставив Себе всегдашним правилом во всех действиях Правительства наблюдать гласность, без малейшего сокрытия бедствий», высочайше велел обнародовать все данные. Но была и причина другая, не менее веская: опыт подсказывал, что если Cholera morbus уж пришла, причем проявилась сразу в нескольких частях столицы, то последствия будут серьезнейшие. И таиться поздно. Да и глупо.

Графиня Дарья Федоровна Фикельмон, супруга австрийского посланника в России, 17 июня записала в дневнике: «В Петербурге появилась холера. Один человек уже умер и трое больных. От этого известия так сжалось сердце! Как тут не тревожиться за всех тех, кого любишь! Сколько удручающего в этом понятии — эпидемическое и заразное заболевание, и какая безмерная печаль охватывает душу!».

Шеф жандармов и начальник Третьего отделения Собственной Е.И.В. канцелярии Александр Христофорович Бенкендорф вспоминал: «В Петербурге вдруг впервые появилась холера. Государь из Петергофа, где имела пребывание Императорская фамилия, тотчас поспешил в столицу для принятия первых мер против этого грозного бича. Он велел устроить больницы во всех главнейших пунктах города; назначил окружных начальников для надзора за ними и для подаяния пособия неимущим и в особенности осиротелым от болезни; наконец, приказал немедленно вывести кадетские корпуса в Петергоф».

Меры в самом деле были приняты экстренные. 14 июня умер помощник «живописного мастера» в Адмиралтейской части столицы – а уже 16 июня впервые собрался комитет «для принятия мер противу распространения холеры в здешней столице», учрежденный под руководством военного генерал-губернатора столицы Петра Кирилловича Эссена. В состав его вошли генерал-адъютанты граф Александр Иванович Чернышев, граф Арсений Андреевич Закревский и князь Александр Сергеевич Меншиков; чуть позже комитет пополнили генерал-адъютант Илларион Васильевич Васильчиков, управляющий Третьим отделением Собственной Его Императорского Величества канцелярии Максим Яковлевич фон Фок и врачи – лейб-медики Яков Васильевич Виллие и Осип Осипович Реман.

Представительный состав – и пускай профессиональные медики оказались там в меньшинстве, зато исполнительная власть была представлена ровно настолько, чтобы обеспечить решениям комитета быструю реализацию. Да и врачи были привлечены в комитет не случайные, плоть от плоти исполнительной власти: Осип Реман исполнял должность гражданского генерал-штаб-доктора, а Яков Виллие руководил Медико-хирургической академией. О холере, надо заметить, Яков Васильевич знал больше всех других своих товарищей по комитету, хотя воззрения на болезнь имел специфические: еще в 1830 году он издал «Описание индийской холеры для врачей армии», где утверждал, что холеру провоцирует отделение желчи, а поскольку жаркие месяцы «есть время больших жаров и умноженного действия печеночной системы», то именно летом и вспыхивают эпидемии. И в 1831 году, забежим вперед, лейб-медик был активен: лично исследовал больных и составил затем «Отчеты о средствах, употребленных против холеры в военных госпиталях в С.-Петербурге с практическими замечаниями о свойствах сей болезни»...

На первом же заседании комитета был принят целый комплект решений – прежде всего во исполнение августейших указаний, перечисленных выше Бенкендорфом. Постарались учесть и общее, и частное, используя при этом «все те меры, которые оказались успешными и благотворительными в Москве». Постановили, «чтобы в каютах пришедших сюда по Неве барок, вся солома была сожжена, полы в них вымыты щелоком, окурены, и чтобы вещи подвергнуты были такой же окурке и проветриванию». В каждую из 13 частей столицы назначили по одному попечителю, главному доктору и медицинскому инспектору, также распорядились «при временных больничных домах и приемных лазаретах иметь Коммисаров, Смотрителей и вахтеров, прислугу, как мужскую, так и женскую», во все больницы «теперь же доставить необходимые медикаменты», при обнаружении «сомнительных больных» в частных домах принять меры «к ограждению самого дома» и обеспечить заболевших экстренной помощью.

Сразу определили и персональный состав борцов с холерой; среди попечителей оказались академик Петербургской Академии наук, будущий граф и автор знаменитой триады «Самодержавие, Православие, Народность» Сергей Семенович Уваров, сенатор и бывший столичный обер-полицеймейстер Иван Саввич Горголи, генерал и знаменитый в будущем военный историк Александр Иванович Михайловский-Данилевский.

В число медицинских инспекторов вошли видный анатом и хирург лейб-медик Илья Васильевич Буяльский, выдающиеся хирурги Иван Федорович Буш и Христиан Христианович Саломон, основатель первой в Санкт-Петербурге глазной клиники Теодор Генрих Лерхе.

Поскольку опыт шествия холеры по России подсказывал, что обычных городских больниц во время эпидемии может не хватить для всех недужных, сразу распорядились и об устройстве десяти временных холерных стационаров. Это решение тоже было предельно четким, с конкретными адресами лазаретов:

- в зданиях Обуховской больницы (находилась на наб. р. Фонтанки, 106);
- в доме купца Таирова на Сенной площади (ныне – пер. Бринько, 4);
- в доме наследников купца Соколова по Фонтанке (примерно в створе нынешней Бородинской улицы);
- в доме имеретинского царевича Иоанна на Фурштатской улице (ныне участок дома № 42);
- в Военно-сухопутном госпитале (на Выборгской стороне);
- в новых казармах в Екатерингофе;
- в доме тайной советницы Бек на Каменноостровском проспекте;
- в доме Греко-униатской церкви на 12-й линии В.О. (ныне 12-я линия, 29–31, угол Среднего пр., 53);
- за городом, на бывшей даче князя Куракина (за Невской заставой);
- от Купеческого общества в доме наследников купца Соколова.

К каждому из этих стационаров приписали врачей. В дом Таирова, например, назначены были трое: старший врач, коллежский советник Земан, ординатор, иностранный врач Тарони и доктор надворный советник Молитор. Об этих троих и их судьбах мы еще вспомним...

На этом действия и решения комитета не закончились: поскольку даже десяти временных стационаров ему казалось мало для борьбы с эпидемией, распорядились и о создании еще десяти приемных лазаретов «для подания первоначального пособия» – своего рода станций скорой помощи:

- в доме поручика Черноглазова в Большой Подъяческой улице;
- в доме князя Салтыкова «близ старых триумфальных ворот» (Нарвские ворота, «дача находилась на левой стороне Петергофской дороги, у Обводного канала, близ Триумфальных ворот», принадлежала потомкам фельдмаршала Н.И. Салтыкова);
- в доме вице-адмирала Макара Ивановича Ратманова в Литейной части (того самого вице-адмирала, чьим именем назван остров Ратманова);
- в доме мещанки Одинцовой, в 5-й роте Семеновского полка;
- в доме купца Васильева (Каретная часть);
- в доме чиновницы Ирины Ивановны Славищевой (4-я Рождественская ул., 24, ныне участок домов № 5 и № 7 по 4-й Советской ул.);
- в доме серебряных дел мастера Янца на Васильевском острове;
- в доме чиновника Филиппова на Петербургской стороне;
- в доме купчихи Гардер (Выборгская сторона, ныне дома №№ 15 и 17 по Пироговской набережной);
- в доме поселянки Мышениной (Охта).

В общем, целая сеть временных медицинских учреждений, равномерно наброшенная на столицу, на ее участки, включая и пригородные. Большие масштабы – большие расходы; 130 000 рублей ассигнациями были направлены на устройство больниц из Государственного казначейства, а к этим деньгам прибавились и пожертвования – как это обычно случается в России, добровольно-принудительные. Столичное купечество, например, «с верно-подданническим усердием ревнуя исполнить Высочайшую Его Императорского Величества волю», постановило внести на устройство временных холерных больниц 160 000 рублей – «по одному проценту объявляемого по каждой гильдии капитала». И это не считая того,

что купечество своим коштом открыло в столице еще тринадцать холерных больниц на 693 места.

Устроили купцы и дополнительную подписку среди тех, «кому заблагорассудится пожертвовать сверх помянутого процента с капитала».

Жертвовали, надо сказать, активно: газеты того времени пестрят фамилиями не только купцов, но и аристократов, изъявивших готовность ударить по холере рублем. Придворный банкир барон Людвиг фон Штиглиц – 20 000 рублей, камер-юнкер двора Анатолий Николаевич Демидов – 10 000, его брат Павел Николаевич – 2000, британский посол лорд Хейтсбери (Heytesbury) – 2000, купцы братья Котомины – 1000. И это только скромнейшая часть длинного перечня! От неизвестной особы тогда же поступило «полотна 100 и льняного холста 103 аршина». Не деньги, конечно, но в больницах вещь вполне потребная.

Пора теперь сказать еще об одном решении комитета, самом скорбном: «Отвести особые кладбища, огородить их и назначить к ним Смотрителей, сторожей и рабочих». Дело здесь было не только в том, что власти ожидали большого числа смертей и полагали, что обычные кладбища не справятся с таким наплывом. Предыдущие эпидемии послужили к выработке особых правил погребения жертв холеры – и говорилось в них, как о том, что гробы следует смачивать раствором селитры с серной кислотой и засыпать древесным углем, а только уже потом землей «с значительною насыпью сверху» – так и о том, что «могилы должны быть огорожены на 20 сажений вокруг и доступ к ним воспрещен».

А как воспретишь доступ к могилам на обычном городском кладбище? Вот и решено было устроить специальные холерные некрополи в отдаленных, глухих углах столицы:

– «близ Тентелевой Удельного ведомства деревни» (позже оно стало известно как Митрофаниевское);

– на Выборгской стороне на Куликовом поле;

– близ Смоленского кладбища;

– на Волковом поле, близ Волковского кладбища.

Создано было чуть позже и свое холерное кладбище на Охте.

Все эти холерные некрополи были загружены работой без особого промедления. На холерном участке у Смоленского кладбища первой уже 19 июля 1831 года похоронили Екатерину Тимофееву. На кладбище «близ Тентелевой Удельного ведомства деревни» одним из первых предали земле тело действительного статского советника и камергера двора князя Сергея Ивановича Голицына, умершего 20 июня. На Волковом поле в числе первых похоронены – видный историк, профессор Петербургского университета Трофим Осипович Рогов и Назлухана Григорьевна Долуханова, рожденная княгиня Мадатова, сестра героя Отечественной войны 1812 года князя Валериана Мадатова.

На Выборгской стороне в те же июньские дни – купец Михаил Иванович Пивоваров и его супруга Анна Матвеевна. Историю этого семейства со слов кладбищенских служителей рассказывал полвека спустя сын знаменитого актера и достаточно популярный в XIX столетии литератор Петр Петрович Каратыгин – с некоторыми живописными преувеличениями: «В исходе 1830 года, пользуясь понижением цены на деревянное масло, бывшее в привозе, он начал скупать его на бирже большими партиями. Знакомые смеялись ему, он же им в ответ сам усмехался, прибавляя, что они в коммерческих делах ничего не смыслят. Покойному И.В. Буяльскому, с которым он был очень дружен, Пивоваров сказал в откровенную минуту, что от оборота с деревянным маслом ожидает в будущем году громадных барышей. „Расчет верный и безошибочный, – сказал он. – Холера непременно пожалует к нам: в приходе кораблей будет немного, а запрос на масло усилится; оно и на лекарство понадобится, да – гром не грянет, мужик не перекрестится – и люди богомольнее сделаются: чаще лампы теплить станут“...

Расчет Пивоварова был верен: масло было распродано с большими барышами, до последней бочки... но холера за выгодную игру на бирже сыграла с купцом злую шутку, взяв с Пивоварова страшный куртаж... она сразила его самого, его жену, старшего сына, невестку и кухарку, бывшую у них в услужении».

Не на шутку разыгралась эпидемия!

В те июньские дни горожане постепенно переходили от тревоги к напряженному ожиданию, от оптимизма к страху. Петербургский почт-директор Константин Яковлевич Булгаков, человек весьма осведомленный и имевший к перлюстрации переписки самое прямое отношение, сообщал брату 18 июня свежие городские новости: «Холерных еще несколько припадков было. В Большой Морской возле генерал-губернатора умерла Французенка Маркет и у каменного моста в трактире, по крайней мере с признаками».

Княгиня Надежда Ивановна Голицына позже вспоминала с куда большей экспрессией: «Холера надвигалась быстро, словно бурный поток, сначала она ворвалась в предместья, а после охватила все кварталы столицы. Доктора, полиция были подняты на ноги, карантинные были предписаны в каждом доме, где случится больной».

«Северная пчела» успокаивала: «При неусыпных попечениях Государя Императора, получающего дважды в сутки подробные донесения о ходе сей болезни и о состоянии столицы... должно ожидать неминуемого в преодолении сей болезни успеха» – однако горожанам покой только снился. Вот и Александр Васильевич Никитенко в своей записи от 19 июня эмоций не скрывал: «Холера со всеми своими ужасами явилась и в Петербурге. Повсюду берутся строгие меры предосторожности. Город в тоске. Почти все сообщения прерваны. Люди выходят из домов только по крайней необходимости или по должности».

О том же и в тот же день писала в дневнике графиня Дарья Федоровна Фикельмон: «Сегодня я вновь чувствую себя отважной, но вчера была охвачена паникой, мне казалось, что все мои близкие обречены заразиться холерой! Сейчас более чем когда-либо, следует уповать на Божий промысел и Его милосердие!»

Cholera morbus явилась: впервые за годы своей истории Санкт-Петербург оказался под властью холеры. Привычный уклад жизни был отодвинут в сторону; теперь уже каждый сколько-нибудь сознательный и образованный горожанин, выходя из дома, совершал целый ритуал сложных действий. Одевался с особой тщательностью, выбирая лишь ту одежду, что строго соответствовала погоде и не заставляла бы зябнуть или потеть. Подойдя уже к двери, тщательно протирал руки, виски и за ушами раствором хлорной извести, а ежели ему не хватало духу на использование этого довольно-таки остро пахнущего химиката – пускал в дело уксус, смешанный с низкосортным оливковым маслом, которое тогда еще именовали деревянным.

Все это – строго по «Наставлению к распознаванию признаков холеры, предохранению от оной и к первоначальному ее лечению», изданному Министерством внутренних дел в первые дни петербургской эпидемии. Там многое говорилось о признаках холеры и особенно о ее причинах: «некоторые обстоятельства располагают человека к удобнейшему принятию болезненного начала, или заразы» – сырой и холодный воздух, «а особливо холодные, туманные ночи после теплых дней», пища жирная, сырая, неудобоваримая, скоро приходящая в брожение, питье, в коем не кончилось брожение, неумеренность в пище, «жилища тесные, нечистые», «места низкие, болотные», легкая одежда, неопрятность тела, неумеренно употребление спиртного «и вообще невоздержная жизнь», «излишнее утомление и изнурение тела», ночи без сна на открытом воздухе, «уныние и беспокойство духа, гнев, страх и вообще сильное движение страстей».

В общем, примерно как в наставлениях доктора Мудрова – с добавлением, однако, про необходимость сохранять бодрость духа.

Многое сообщало министерство и о способах предохранения от холеры, и этот раздел наставления, можно не сомневаться, горожане читали с особенным вниманием: не спать на открытом воздухе, не выходить на улицу без обуви и вскоре после сна, не употреблять сырых плодов и кореньев, не пить пива, молодого кваса и кислого молока, «вообще избегать всякого обременения желудка», одеваться по погоде и избегать простуды, срочно менять промокшую одежду на сухую, «стараться поддерживать легкую нечувствительную испарину, употребляя вместо чаю ромашку, мяту, шалфей, Melissa и другие подобные ароматные травы», «для поддержания действия в кровеносных жилах, на поверхности тела разделяющихся, полезно тереть ежедневно все тело, а особливо ноги, теплыми суконками или обтирать все тело уксусом», в домах соблюдать чистоту, чаще проветривать, «буде погода позволяет», «и расставлять в нескольких местах порошок или раствор хлориновой извести, которые можно получить из каждой Аптеки, а для бедных оные отпускаются без платы из каждой части города», «при сем заметить должно, что хлориною известью не следует курить беспрестанно, но только до того, пока в комнатном воздухе будет ощутителен запах хлора. Кроме сего, полезно курить уксусом с мятою», «по утрам не выходить на воздух с тощим желудком», не изнурять себя «чрезмерно продолжительным трудом».

В общем, все те же инструкции Матвея Яковлевича Мудрова с некоторыми актуальными дополнениями. Одно из указаний, надо отметить, было заметно ценнее прочих: «по утрам не выходить на воздух с тощим желудком». Холерный вибрион, как сегодня уже хорошо известно, погибает под действием желудочного сока, содержащего в себе соляную кислоту – а вырабатывается сок именно в процессе приема пищи. Стало быть, плотный завтрак с небольшим количеством жидкости (чтобы желудочный сок не разбавлять уж слишком, не ослаблять его действие) – в самом деле хорошая мера профилактики холеры.

Но вот уже наш петербуржец на прогулке, и фразы министерского наставления упорно стучат ему в виски: «Иметь с собою скляночку с раствором хлориновой извести, или с крепким уксусом, которым чаще потирать себе руки, около носа, виски и проч.; кроме сего, носить в кармане сухую хлориновую известь в полотняной сумочке».

Имели, носили. Отчего и стали подвергаться – об этом чуть позже – нападениям разгоряченных простолудинов.

По возвращении же домой горожанин спешил не только переменить одежду, но и по возможности «прокурить хлориновым гасом или селитрою с солью». Окуривание это предписывалось проводить в нежилой комнате, «наливая на хлориновую известь по несколько капель серной кислоты».

Если же все принятые меры предосторожности не помогали, если вдруг организм начал демонстрировать пугающие симптомы заболевания, каждый горожанин мог сличить течение своего недуга с описанием, распространенным МВД: «Кружение головы, давление и жжение под ложечкою и около желудка, тоска, неутолимая жажда, рвота, урчание в животе, внезапный упадок сил, понос. Жидкость, верхом и низом извергаемая, похожа на огуречный рассол, или на пасоку, обыкновенно отделяющуюся из выпущенной крови. Ноги, руки и вся поверхность тела хладеют. Черты лица явственно изменяются: оно делается бледным, выражает крайнее изнеможение. Глаза впадают. Голос слабеет и делается сиповатым. В ногах и руках оказываются судороги. Пульс слабеет и делается почти нечувствительным».

Начнешь волноваться, читая такое!

И добро бы только тревога за свою жизнь – да только к ней стали прибавляться и обычные неурядицы российской жизни. Современник свидетельствовал: «Лазареты устроены так, что они составляют только переходное место из дома в могилу <...> присмотр за больными нерадивый», а попечители, призванные вроде бы наводить порядок, избраны «из людей слабых, нерешительных и равнодушных к общественной пользе». Вот и министр внутренних дел граф Арсений Андреевич Закревский докладывал 21 июня императору

Николаю I, что «временные больницы, не получили еще должного устройства, не снабжены некоторыми необходимо нужными вещами, и обсервационных домов вовсе нет».

Как всегда: гладко было на бумаге, да забыли про овраги.

А неудобства от карантинных, установленных в те же дни? Близ Царского Села кордоны, например, установили 19 июня – и находившийся там с семейством Александр Сергеевич Пушкин с семейством оказался отрезан от столицы. В письме Елизавете Михайловне Хитрово он успокаивал: «Итак, у вас холера, но, впрочем, не беспокойтесь. Это все та же история, что и с чумой: порядочные люди никогда от нее не умирают, как говорила маленькая гречанка. Надо надеяться, что эпидемия не будет слишком сильна даже и среди простого народа. В Петербурге много воздуха и к тому же море...».

Оптимистично был настроен Александр Сергеевич, что уж тут скажешь.

Письма его, кстати – как и все остальные письма и посылки, преодолевшие карантин – приходили к адресатам, истыканные дырками: боясь, что зараза проникнет через почту, их протыкали насквозь и окуривали в специальных помещениях. «Северная пчела» по этому случаю особо напоминала жителям столицы: «По распоряжению Почтового Начальства, вся следующая из С.-Петербурга корреспонденция с почтами и эстафетами в другие города, окуривается и остается здесь, в устроенном при Почтамте карантине, четыре часа, почему и назначено прием писем и пакетов казенных производить накануне того дня, в который они должны были быть отправлены...».

О том же царскосельском кордоне, за которым оказался Пушкин, Николай Васильевич Гоголь писал Василию Андреевичу Жуковскому, образно сообщая, что 24 версты превратились теперь в дорогу от Петербурга до Камчатки. «Знаете ли, что я узнал на днях только, что э... но вы не поверите мне, назовите меня суевером, – что всему этому виною не кто другой, как враг Честного Креста церковей Господних и всего огражденного святым знаменем. Это черт надел на себя зеленый мундир с гербовыми пуговицами, привесил к боку остроконечную шпагу и стал карантинным надзирателем».

Эмоции Гоголя понятны – и они вполне совпадают с настроением множества горожан, попавших тогда под карантин. Расставленные кордоны изрядно накаляли общую обстановку – и если некоторым удавалось быстро проскользнуть через них (как правило, за взятку), то многие застревали в пути на несколько дней. Особенно это ударило по торговцам: поставка в столицу и из нее нужных товаров, в том числе провианта, была затруднена, часть продуктов просто погибла в пути, цены на то, что удалось доставить, выросли тут же – и это опять же подстегнуло недовольство. Чиновник и писатель Осип Пржецлавский свидетельствовал позже: «Предупредительные средства до крайности стесняли торговлю, сообщения и все сношения и причиняли громадные убытки. Тысячи людей и лошадей, с товарными обозами, были задерживаемы у застав и томились, высиживая карантин».

Не только обитатели Царского Села были отрезаны тогда от занедужившей столицы, но и жители Петергофа, куда перебралась на летние месяцы царская семья. Великая княжна Ольга Николаевна, которой тогда исполнилось восемь лет, вспоминала: «Никто не имел права въезда в Петергоф. Лучшие фрукты этого особенно теплого лета выбрасывали, также салат и огурцы. Кадетские корпуса одели своих воспитанников во фланелевые блузы. Им посылались чай и вино. Мы, дети, не понимали опасности и радовались удлиненным каникулам ввиду того, что наши учителя не могли покинуть город».

Василий Андреевич Жуковский, оказавшийся тогда вместе с царской фамилией в Петергофе, сообщал оттуда принцессе Луизе Прусской, с которой состоял в переписке: «Мы в Петергофе, в достаточной безопасности от заразы. Все тихо вокруг нас. Погода великолепная; природа обычно-прекрасная, блистающая и спокойная, как будто с людьми и не совершается никакой беды. И посреди этой всеобщей тишины беспрестанно узнаем мы о кончине кого-либо из знакомых людей. Здесь, на морском берегу, есть пленительный уголок, назы-

ваемый Монплезиром; это небольшой дворец в нормандском стиле, построенный Петром Великим. Возле него терраса, осененная ветвистыми липам, которые теперь цветут. Море расстилается перед этою уединенною террасою; тут любуются прекрасною картиною заходящего солнца. Но, право, совестно наслаждаться даже красотою природы. С этой террасы видны на небосклоне с одной стороны Петербург, с другой Кронштадт: оба заражены холерою, и воображение невольно переносится к многочисленным сценам страданий и горя; и прекрасная картина тишины, находящаяся перед взорами, тотчас утрачивает свою прелесть: тоска точит сердце как червь».

«Прекрасная картина тишины», впрочем, нарушалась и в Петергофе: отдельные случаи холеры случались и здесь. Одним из заболевших стал Александр Христофорович Бенкендорф. Он сам вспоминал, как император вызвал его к себе, чтобы отправить со срочным поручением в Витебск – однако: «Я пошел в свои комнаты, чтобы распорядиться приготовлениями к предстоящей поездке; но едва успел, кончив их, прилечь, как во мне открылись все признаки холеры. Прибывший в эту минуту из Петербурга врач государев Арендт, прибежав ко мне, испугался при виде перемены в моем лице. После данных им лекарств и горячей ванны, откуда меня вынули без чувств, мне сделалось несколько легче. Тотчас взяты были всевозможные предосторожности для охранения царского жилища от привезенной мною заразы, а в Витебск послали, разумеется, другого. Но Государь в ту же еще ночь навещил меня и потом, в течение с лишком трех недель, каждый день удостаивал меня своим посещением и продолжительной беседой».

В наставлении МВД рекомендовалось «приступая к больному, стараться, по возможности, избегать выдыхаемого им воздуха»; интересно, следовал ли этому совету Николай Павлович?



Александр Христофорович Бенкендорф

В завершение этой главы пора сказать о проблеме, которая оказалась в те дни серьезней всех прочих, даже карантинной. Холерный комитет под председательством Петра Кирилловича Эссена постановил, среди прочего, что заболевших горожан следует «помещать в ближайшие холерные больницы без различия званий, если не могут быть пользуемы в домах» – основное значение, по всей видимости, придавая прилагательному «ближайший». Однако решение комитета было понятно не всеми. Отнесенное в конец фразы «если» сделало свое черное дело: нижние полицейские чины восприняли эту директиву как прямое указание непременно отвозить всех занемогших в больницы. Действовали они при этом, как замечал позже Петр Петрович Каратыгин, «с мягкосердием фурманщиков» (ловцов бродячих собак); больничные кареты, разъезжавшие по городу, забирали даже тех, чьей единственной проблемой было избыточное количество алкоголя в крови.

Александр Васильевич Никитенко 20 июня 1831 года с горечью записал в дневнике: «Бедные люди считают себя погибшими, лишь только заходит речь о помещении их в боль-

ницу. Между тем туда забирают без разбора больных холерою и не холерою, а иногда и просто пьяных из черни, кладут их вместе. Больные обыкновенными болезнями заражаются от холерных и умирают наравне с ними. Полиция наша, и всегда отличающаяся дерзостью и вымогательствами, вместо усердия и деятельности в эту плачевную эпоху только усугубила свои пороки».

Воспоминания Александра Башуцкого, в ту пору адъютанта столичного военного генерал-губернатора, позволяют еще объемнее представить себе масштаб бедствия: «Пьяных появилось значительно более обыкновенного: одни непременно выпивали добрую чашу уже с утра, выходя из дома, чему способствовали медицинские рекомендации, возведенные в куб народною молвой и вкусом к рюмочке; другие пили для куража, от трусости; известно: „Пьяному и море по колено“. Этих-то, где они появятся, рачители справа и слева хватали, цап-царап! – и через миг они находились в одной из больниц. Тут дело принимало вид еще более способствовавший всеобщему устрашению. Seriously больной, схваченный в больницу, обыкновенно не медлил переселяться на кладбище, таинственно, ночью, и на кладбище опальное, страшное народу, вынесенное далеко от общего; можно, кажется, безошибочно положить, что спасавшихся этого разряда было не более 14–20 на сто. Мнимо же больные, отдохнув с перепуга, вымаливали всеми святыми освобождение; бежали подкупом, хитростью, наконец, открытою силой, с боя со сторожами и докторами, и появлялись на улицах и в домах своих нередко в больничном халате и колпаке, торжественно прославляя свою удачу и распространяя в народе ненависть к докторам и больницам и нерушимое убеждение, что „туда хватают людей нарочно, чтобы морить“...».

Боком вышло и распоряжение холерного комитета об ограждении частных домов, где обнаруживались больные холерой. Иван Романович фон дер Ховен, в ту пору гвардейский офицер и еще один свидетель первой петербургской холерной эпидемии, вспоминал красноречивый эпизод: «Раз, проходя по Моховой улице, я увидел, что трехэтажный дом, находящийся наискось церкви Симеона, был заперт и оцеплен полицией; у ворот стояли два будочника, а третий ходил под окнами по тротуару.

Жители, в страхе и отчаянии, высунувшись из отворенных окон всех этажей, что-то кричали, – я разобрать не мог. Лица, проходящие мимо этого дома, бежали, затыкая платками носы, или нюхали уксус. Я из любопытства остановился наблюдать, что будет; думал, что вот явится попечитель или частный, или квартальный и распорядится, чтобы больной был удален в больницу, а здоровые были выпущены. Но напрасны были мои ожидания: прошло верных полчаса, никто не явился и никакого распоряжения не последовало.

Слышу в воротах крик, шум, стук молотков; ворота шатаются и видно, что на них изнутри напирают.

К счастью жителей, на дворе жил слесарь, который, собрав своих рабочих, сбил калитку с петель; калитка упала, и вся эта толпа с радостью и криком бросилась на улицу; жители вздохнули свободно; в одну минуту у окон никого не было; все ринулись вон из дома и разбежались по всем направлениям; полиция в миг исчезла; что было далее, сказать не могу, потому что я, дивясь тому, что видел, продолжал путь свой».

Завершает свой рассказ фон дер Ховен следующим пассажем: «Вероятно и эта мера была вскоре отменена, потому что мне, бывшему ежедневно на улицах, не приходилось более наткаться на подобные сцены».

Впрочем, до этой отмены еще многое должно было произойти.

Холерный бунт. Государь на Сенной

Общее настроение горожан в первые дни холерной эпидемии читателю уже известно; к началу двадцатых чисел напряжение достигло предела. И не только из-за неудобств и неустойчивости, не только из-за страха заболеть. Петр Андреевич Вяземский отмечал позже: «На низших общественных ступенях холера не столько страха внушала, сколько недоверчивости. Простолудин, верующий в благость Божию, не примиряется с действительностью естественных бедствий: он приписывает их злобе людской или каким-нибудь тайным видам начальства. Думали же в народе, что холера есть докторское или польское напущение».

Польское – потому что как раз шло подавление польского бунта, русские войска подступали к Варшаве, о поляках в столице говорили безо всякой теплоты, с неизменным недоверием. Столичные поляки, как вспоминает другой мемуарист, «перестали бывать в русских домах, заметив, что иные хозяйки, заваривая за общим столом чай, наблюдают за ними и ставят подальше от них сахарницу, сливки и печенье».

Предметом особо пристального внимания настороженной публики стал тогда дом Мижуева на Фонтанке, у Симеоновского моста, где обитал статс-секретарь Царства Польского Степан Фомич Грабовский вместе с подчиненными. Своим сотрудникам Грабовский велел не появляться на улицах поодиночке, только в экипажах. «Это продолжалось до тех пор, пока публике не стал известен результат дознаний, производимых следственной комиссией о лицах, заарестованных по подозрению в отравлении народа. Наконец во всех газетах появилось официальное извещение, что из 700 и более задержанных лиц ни у одного не найдено никакого ядовитого или вредного вещества и что между ними не было ни одного поляка».

Столичный цензор Осип Антонович Пржецлавский, сам поляк и университетский товарищ Адама Мицкевича, вспоминал о тех же днях: «Внезапность действия болезни, ее ужасные симптомы и то обстоятельство, что она непосредственно развивалась после дурной пищи или холодного питья, породили мысль, что эпидемии нет и что люди заболевают и умирают вследствие отравления, в чем участвуют доктора и полиция. А как появление холеры в Петербурге пришлось как раз во время первого польского мятежа, то огромное большинство жителей столицы не колебалось эти мнимые отравления приписать и непосредственному действию, а также подкупам поляков. По всему городу разошлись и повторялись нелепые рассказы о том, как поляки ходят ночью по огородам и посыпают овощи ядом; как, незаметно проходя в ворота домов, всыпают яд в стоящие на дворах бочки с водой; как зафрахтованные мятежниками корабли привезли целые грузы мышьяку и всыпали их в Неву, и т. п. Взволнованная чернь, в которой коноводами были мальчики – ученики разных мастерских и фабричные рабочие, расхаживала толпами по улицам и всякого, кто ей казался почему-нибудь „холерщиком“, била и истязала нередко до смерти».

Александр Павлович Башуцкий вторит в своих мемуарах: «...Скоро народ, будто по общему лозунгу, вдруг начал повсюду останавливать сперва пешеходов, а потом и ездивших в экипажах, обшаривал их карманы и строго допрашивал. Находя порошки, склянки (а до жестоких уроков этих из десяти человек, конечно, более половины были тогда непременно снабжены хлористой известью, спиртом, пилюлями, каплями и всякими средствами, будто бы предохранявшими от заразы и останавливавшими ее действие), чернь нередко заставляла схваченного тут же глотать всю свою аптеку. Видя несомненно вредное действие как испуга, так и подобной медикаментации, народ еще более убеждался в существовании отравлений. Бедные жертвы заботливости о самосохранении были избиваемы нещадно, и многие поплались даже жизнью».

Красок в общую картину подбавляет и Авдотья Яковлевна Панаева, в будущем известная писательница и мемуаристка, одна из муз Николая Алексеевича Некрасова (в 1831-м ей было 11 лет): «Я видела с балкона, как на Офицерской улице, в мелочной лавке, поймали отравителя и расправлялись с ним на улице. Как только лавочник, выскочив на улицу, закричал: „Отравитель!“ – мигом образовалась толпа, и несчастного выволокли на улицу. Отец побежал спасать его. Лавочники и многие другие знали хорошо отца, и он едва уговорил толпу отвести лучше отравителя в полицию, и пошел сам с толпою в часть, которая находилась в маленьком переулочке против нашего дома. Фигура у несчастного „отравителя“ была самая жалкая, платье на нем изорвано, лицо в крови, волосы всклокочены, его подталкивали в спину и в бока; сам он уже не мог идти.

Это был бедный чиновник. Навлек на него подозрение кисель, которым он думал угостить своих детей. Идя со службы, он купил фунт картофельной муки и положил сверток в карман шинели; вспомнив, что забыл купить сахару, он зашел в мелочную лавку, купил полфунта сахару, сунул его в карман, бумага с картофельной мукой разорвалась и запачкала ему его руку. Лавочники, увидав это, и заорали: „Отравитель“...».

21 июня стало тем днем, когда брожение начало переходить в настоящий бунт. Воскресенье, день был свободный, народ в обилии ходил по улицам. Утром состоялись многочисленные крестные ходы из многих петербургских церквей с молитвой об избавлении от холеры; после двух часов дня горожане стали сбиваться в толпы. Градус напряжения нарастал. Именно в этот день было приказано оцепить Зимний дворец, закрыв для входа и выхода все подъезды и дворы – но основные события развернулись вдали от царской резиденции.

Первый инцидент случился на Сенной площади, неподалеку от дома Таирова, давно уже привлекавшего к себе внимание взволнованных горожан: взбудораженный народ оставил больничную карету, освободил находившихся в ней больных, а сам экипаж разломал. Александр Васильевич Никитенко записал в этот день в дневнике: «Народ явно угрожает бунтом, кричит, что здесь не Москва, что он даст себя знать лучше, чем там, немцам лекарям и полиции. Правительство и глухо, и слепо, и немо».

Нечто похожее случилось и в Рождественской части столицы, у дома чиновницы Ирины Ивановны Славищевой, где помещался временный холерный лазарет. Здесь, по оценке современников, собралось до двух тысяч человек – и вели они себя весьма беспокойно: «окружили больницу и начали выходить из послушания полиции». Когда квартальный надзиратель Сердаковский, состоявший при лазарете в качестве смотрителя, отправился за подмогой, в окна лазарета полетели камни, было разбито два стекла, а лазаретный цирюльник Абрам Шейкин получил ушиб.

На этом, впрочем, инцидент пошел на убыль. Полиция и пожарная команда оттеснили собравшихся на Конную площадь, куда подоспели и военные. Полтора десятка человек задержали по подозрению в том, что именно они выступали зачинщиками беспорядков (дальнейшее следствие показало, впрочем, что под арест попали большей частью случайные прохожие). К десяти часам вечера лазарет взяли под усиленную охрану, да и народ «почти весь уже разошелся».

Спокойствие, однако, было лишь затишьем перед бурей. Из разных частей города народ стал стекаться на Сенную площадь, где до утра продолжались тревожные толки, звучавшие попеременно с угрозами, там, в конце концов, и грянуло. Что конкретно превратило народную тревогу в настоящий бунт, определить трудно, хотя некоторые версии имеются. Петр Петрович Каратыгин предполагал, например, что последней каплей стала история, случившаяся с кучером одного из столичных купцов. В тот день отбыл с хозяином по делам, оставив молодую жену совершенно здоровой, а по возвращении узнал, что она заболела холерой и взята во временную больницу у Сенной площади. Примчавшись в дом Таирова, несчастный муж узнал, что супруга скончалась и тело ее отнесено в мертвецкую.

«Немало слез и молений стоило бедняку, чтобы ему позволили взглянуть на покойницу. Его ввели в „мертвушку“: трупы мужчин и женщин, совершенно нагие, лежали на полу, в ожидании гробов, осыпанные известью... Он отыскал труп жены, рыдая, упал на него и к крайнему ужасу и невыразимой радости заметил в нем признаки жизни. Как безумный, схватив жену на руки, он выбежал во двор, осыпая проклятиями больницу и докторов. Многочисленная, которую немножко поторопились снести в мертвушку, часа через два действительно скончалась».

По версии Каратыгина, именно молодой кучер и стал «одним из главных действующих лиц» в последовавших событиях. Александр Васильевич Никитенко записал 22 июня в дневнике, что «в час ночи меня разбудили с известием, что на Сенной площади настоящий бунт», а вскорости стало известно, «что войска и артиллерия держат в осаде Сенную площадь, но что народ уже успел разнести один лазарет и убить нескольких врачей».

Красочно и эмоционально описал эти события Александр Христофорович Бенкендорф; свидетелем происходившего он не был, но после немало времени отдал следствию над виновниками совершенных преступлений: «Чернь столпилась на Сенной площади и, посреди многих других бесчинств, бросилась с яростью рассвирепевшего зверя на дом, в котором была устроена временная больница. Все этажи в одну минуту наполнились этими бешеными, которые разбили окна, выбросили мебель на улицу, изранили и выкинули больных, приколотили до полусмерти больничную прислугу и самым бесчеловечным образом умертвили нескольких врачей. Полицейские чины, со всех сторон теснимые, попрятались или ходили между толпами переодетыми, не смея употребить своей власти».

Страшные были часы, что и говорить. В ходе разгрома больницы убили ее главного врача Земана; были и другие жертвы. Достоверно известно, что спастись в тот день удалось лишь 72-летнему доктору медицины Георгу Магнусу фон Молитору – возможно, бунтовщики пощадили его в силу возраста...

Бунт с кровопролитием стал совершенной неожиданностью для городской власти. А еще неожиданней оказалось то, что по совершении этих бесчинств народ не только не разбежался с Сенной площади, но и продолжал на ней собираться, задерживая приближавшиеся больничные кареты. Беспорядки начались и в других частях города: разгромили временную холерную больницу в доме Греко-униатской церкви на 12-й линии В.О. (ныне 12-я линия, 29–31, угол Среднего пр., 53), народ «изломал, побросал в реки встречавшиеся ему экипажи, перевозившие больных, разбил полицейские будки, избил, где было можно, не только низших полицейских служителей, но многих офицеров, разогнал, запер других в погреба, лавки, подвалы; отыскивал везде квартиры докторов, уничтожил, выбросил на улицу все имущество старшего полицейского врача (носившего польскую фамилию)».

Последняя цитата – из доклада столичного обер-полицеймейстера Сергея Александровича Кокошкина холерному комитету. Александр Павлович Башуцкий позже вспоминал, как очередное заседание этого комитета, проходившее ранним утром 23 июня в доме военного генерал-губернатора столицы Петра Кирилловича Эссена, прервалось визитом Кокошкина. Обрисовав ситуацию в целом, тому пришлось признать, что «полиции не существует, войска нет (оно все было в лагере), в городе оставалось лишь несколько слабых батальонов для гарнизонной службы, но и те именно в это время были разбиты на мелкие команды, рассеянные по всему пространству столицы; одни шли вступать в караулы, другие, сменившись, возвращались домой».

По оценке Кокошкина, на улицы тогда вышло до трети всего населения столицы. Велики глаза у страха, что тут скажешь, но масштаб народных волнений и вправду оказался серьезен.

Холерный комитет и генерал-губернатора Эссена пугающие новости застали врасплох. Император отсутствовал в столице, ждать его указаний из Петергофа было долго, пришлось

поневоле взяться за дело самим. Петербургскому коменданту отправили приказ направлять все имеющиеся караулы на Сенную площадь; «военный же генерал-губернатор сел в коляску с дежурным адъютантом своим, и мы поскакали с Большой Морской по Невскому проспекту на означенную площадь, главную сцену действия, в намерении уговорить народ».

Дежурным адъютантом в тот день являлся как раз Александр Павлович Башуцкий и воспоминания его, пусть и окрашенные некоторой излишней литературностью, ярко обрисовывают картину происходящего. Полностью читатель сможет прочесть мемуары А. П. Башуцкого в конце книги, здесь же – ключевые эпизоды.

«Дня этого я не забуду. Народ стоял с обеих сторон нашего пути шпалерами, все гуще и теснее, чем ближе к Сенной площади. Закрыв глаза, можно бы было подумать, что на улице нет живой души. Ни оружия, ни палки; безмолвно, спокойно, с видом холодной решимости и с выражением странного любопытства, народ стоял, как будто собравшись на какое-нибудь зрелище. По мере нашего движения вперед он молча оставлял свои места, сходил с обеих сторон на середину, окружал коляску тучею, которая все росла, запружала улицу и с трудом в ней двигалась, как поршень в цилиндре. Так втащились мы, будто похоронный поезд, в устье площади, залитой низшим населением столицы, и остановились по невозможности двинуться далее. То же безмолвие, неподвижность и сдержанность. И здесь, как там, ни одна шапка на голове не заломалась. На противоположном конце, в углу, виднелась, с выбитыми стеклами, взятая штурмом злосчастная больница, на лестнице и в палатах которой еще лежали кровавые жертвы безумной расправы».

Петр Кириллович Эссен, по единодушному свидетельству всех, кто его знал, не был бойцом – но отступать было некуда. Встав в коляске, он обратился к народу с вопросом: «Зачем вы тут? Что вам надобно?».

«Безмолвие нарушилось. Сперва гул, потом шум, потом тысячеголосый крик заменили мертвую до этой минуты тишину; не было возможности ни разобрать, ни унять бури звуков. Вскоре без буйства еще, но уже и без всякой уважительности, сначала будто бы из желания объясниться внятнее, стоявшие около самого экипажа и продиравшиеся к нему ораторы взяли коляску приступом; влезли на ступицы и ободья колес, на крылья, подножки, запятки, козлы, цеплялись за бока, поднимались на руках и высовывали вперед раскрасневшиеся от духоты и оживления лица. Мы очутились в небольшом пространстве, окруженные сотнями разнообразных физиономий, нос к носу. „Нет холеры! Какая там холера! Морят да разоряют только!.. Прочь ее!.. Не надо нам холеры!.. Выгнать за Московскую заставу!.. Не хотим ее знать!.. Ну ее! Чтоб не было!.. Выгнать!.. Говори, что нет холеры!.. Так-таки скажи народу прямо, что холеры нет!.. Скажи сам!.. Не хотим ее!.. Выгнать сейчас холеру из города!.. Скажи, что холеры нет!..“ Такие возгласы повторялись на тысячи ладов спершими нас говорунами, а от них перенимались морем народа».

Из возгласов собравшихся, вспоминает Александр Павлович Башуцкий, выяснилась и еще одна причина волнений. Как уже знает читатель, торговцев разорял карантин – но попутно разоряло и стремление горожан соблюдать рекомендации врачей и МВД, отказавшись от употребления в пищу всего сырого, жирного и тяжелого для желудка. Торговцы фруктами жаловались Эссену на то, что «ворохи ягод повыкидаем; персиков, слив, разного фрукта погноили на большие тысячи», а харчевники и трактирщики – что провизия пропадает, потому что соленого и копченого не едят...

«Была хитро приготовлена и сцена, народно-эффектная, вполне удавшаяся. Пока происходили эти пререкания в коляске и около нее, – „Смотрите-ка, – раздалось кругом, – глядите, вон они, больные-то, что травят в госпиталях! Вишь каковы!“». Из угла от больницы медленно тянулась оригинальная процессия: с дюжину кроватей высоко неслись на руках, за ножки, над головами толпы; люди, стоя на них, в больничных халатах и колпаках, со штофами, кривлялись, весело приплясывали, подпевали и выпивали за здравие православных да

за вытолканье за заставу холеры... Народ расступался, очищая путь и приветствуя смехом и восторженными криками это триумфальное шествие. „Вот-те холера, больные-то пьют да пляшут! Знать! Вон ее, чтоб не было у нас и духу холеры!“ – гудело по площади, как по морю буря».

Эссену с Башуцким удалось благополучно покинуть площадь, чего не скажешь о некоторых других представителях власти. Тот же Александр Павлович вспоминал, как «схватили на руки и в изодранном мундире отнесли куда-то» местного пристава, как «там, сям выкалывались над толпой каска затертого в ней с лошастью жандарма».

По возвращении домой военный генерал-губернатор обратился за советом к другим членам холерного комитета. Генерал-адъютант Илларион Васильевич Васильчиков, командовавший тогда войсками гвардии в столице, помочь сумел не только словом, но и делом: он с барабанным боем вывел на Сенную батальон лейб-гвардии Семеновского полка. Александр Христофорович Бенкендорф, впрочем, вспоминал: «Это хотя и заставило народ разойтись с площади в боковые улицы, но несколько его не уредило и не заставило образумиться. На ночь волнение несколько стихло, но все еще город был далек от обыкновенного порядка».

В самом деле далек, вечером того же дня разгромили временный холерный лазарет в доме поручика Черноглазова в Большой Подъяческой улице. Публицист и мемуарист Илья Васильевич Селиванов писал позже со слов своего двоюродного брата, жившего поблизости: «Толпа повыкидала из больницы все, что там было, потом взобралась на крышу, раскидала железные листы ее и разобрала дом до основания. Потом, найдя на дворе холерную карету, запряглась в нее и с песнями возила по улицам, до тех пор, пока, утомившись, не сбросила ее в канаву».

Тот же мемуарист рассказывает и более локальный эпизод – то, как под подозрение толпы попал переводчик Соколов, сотрудничавший с газетой «Русский инвалид». Дальше изложение монолога самого Соколова: «Подходя к Пяти Углам, я вдруг был остановлен сидельцем мелочной лавки, закричавшим, что я в квас его, стоявший в ведре у двери, бросил отраву. Это было часов около 8 вечера. Разумеется, на этот крик сбегались прохожие и менее нежели через минуту я увидел себя окруженным толпой, прибывавшей ежеминутно. Все кричали; тщетно я уверял, что я никакой отравы не имел и не бросал: толпа требовала обыскать меня. Я снял с себя фрак с гербовыми пуговицами, чтоб показать, что у меня ничего нет; – душа была не на месте, чтоб толпа не увидела иностранных журналов и в особенности польских, бывших в числе их. Толпа не удовольствовалась фракком; я принужден был снять жилет, нижнее платье, сапоги даже нижнее белье и остался решительно в одной рубашке. Когда окружающие меня, наводнившие улицу до того, что сообщение по ней прекратилось, увидели, что при мне подозрительного ничего нет, тогда кто-то из толпы закричал, что я „оборотень“ и что он видел, как я проглотил склянку с отравой. Досаднее всех мне был какой-то господин с Анной на шее, – он больше всех кричал и всех больше приставал ко мне... После слова оборотень в толпе закричали, что меня надо убить, и некоторые отправились для этого на соседний двор за поленьями дров. Видя приближение смертного часа, я стоял почти нагой среди толпы и поручал душу мою Богу. Вдруг в толпу въехал кавалергардский офицер, мальчик лет 19, верхом, и подъехавши ко мне, стал меня спрашивать: кто я такой и в чем дело. Как мог, второпях и в испуге, я ему объяснил, кто я такой и просил меня спасти. Юноша, не думая долго, обнажил палаш и плашмя, разгоняя им народ, велел мне идти за собою. Подобравши в охапку платье свое и сапоги, я в од ной рубашке, насколько мне позволяли силы, побежал за ним, под охраной его палаша».

День 22 июня закончился, началось уже 23 июня – но волнения на улицах столицы продолжались. Архивные документы сохранили свидетельства многих новых инцидентов. Утром на Разъезжей улице, например, взбудораженная толпа заметила проезжавшего в дрожках штаб-лекаря Московской части коллежского асессора Кралицкого. Врача узнали, под-

нялся крик, народ попытался остановить экипаж и принялся бросать камни, но кучер сумел выбраться из толпы – и Кралицкий в итоге спасся в съезжем доме Московской части, находившемся на углу Гороховой улицы и Загородного проспекта. Позже полиция выяснила, что зачинщиком беспорядков стал мещанин Дмитрий Васильев, торговец писчей бумагой в Гостином дворе, у которого от холеры умерла дочь...

В первом часу дня событие практически там же: «для взятия заболевшей женщины» в дом купца Ванчакова на Разъезжей улице (близ Мясного рынка) была послана с полицейским унтер-офицером и фонарщиком больничная карета. Экипаж въехал во двор, оба отправились за холерной больной в верхний этаж. В тот же момент толпа хлынула во двор, вытащила на улицу карету и стала ее ломать.

Но тем временем уже приближалось главное событие этого холерного дня. Император Николай I, получив доклад о происходящем в столице, решил отправиться из Петергофа на Сенную площадь, приказав одновременно привести в боевую готовность все наличные войска. На пароходе «Ижора» он прибыл к Елагину острову, выслушал доклады Петра Кирилловича Эссена и других чиновников, был «поражен видом унылых лиц всех начальников» – и в сопровождении князя Александра Сергеевича Меншикова сел в подготовленную для него коляску. Александр Христофорович Бенкендорф позже так описывал прибытие монарха на Сенную площадь: «Государь остановил свою коляску в середине скопища, встал в ней, окинул взглядом теснившихся около него и громовым голосом закричал: „На колени!“ Вся эта многотысячная толпа, сняв шапки, тотчас приникла к земле. Тогда, обратясь к церкви Спаса, он сказал: „Я пришел просить милосердия Божия за ваши грехи; молитесь Ему о прощении; вы Его жестоко оскорбили. Русские ли вы? Вы подражаете французам и полякам; вы забыли ваш долг покорности мне; я сумею привести вас к порядку и наказать виновных. За ваше поведение в ответе перед Богом – Я. Отворить церковь: молитесь в ней за упокой душ невинно убитых вами“. Эти мощные слова, произнесенные так громко и внятно, что их можно было расслышать с одного конца площади до другого, произвели волшебное действие. Вся эта сплошная масса, за миг перед тем столь буйная, вдруг умолкла, опустила глаза перед грозным повелителем и в слезах стала креститься. Государь, также перекрестившись, прибавил: „Приказываю вам сейчас разойтись, идти по домам и слушаться всего, что я велел делать для собственного вашего блага“. Толпа благоговейно поклонилась своему царю и поспешила повиноваться его воле».



Николай I на Сенной площади. С гравюры XIX столетия

Канонический эпизод, вошедший во все летописи царствования императора Николая I и даже запечатленный на одном из барельефов его конного монумента на Исаакиевской площади. Знаменитая уваровская триада в ее живом воплощении.

Здесь, однако, немного притормозим: поскольку эпизод сразу разошелся по тысячам изустных и письменных пересказов, до нас дошла далеко не одна версия того, что же именно сказал Николай коленопреклоненным петербуржцам на Сенной площади. Уже 23 июня Александр Васильевич Никитенко отмечал в дневнике: «Нельзя добиться толку от вестовщиков: одни пересказывают слова государя так, другие иначе».

Среди свидетельств есть и вполне анекдотические: баронесса Мария Петровна Фредерикс, например, рассказывает в своих воспоминаниях, будто император перед всей толпой выпил «склянку ртути, которым тогда лечили холеру и который простые люди принимали за отраву». А на предостережение подбежавшего медика, что-де император может потерять зубы, Николай ответил: «Тогда вы мне сделаете челюсть».

Некоторые современные авторы вполне всерьез цитируют свидетельство баронессы, однако им стоило бы знать: ртутью, то есть ртутью, холеру не лечили, а сама мемуаристка родилась на свет божий в 1832 году – и никак не могла видеть происходившее на Сенной.

Еще одно не менее анекдотическое свидетельство оставил писатель Николай Александрович Лейкин: со ссылкой на своего отца, гостинодворского купца, он рассказывал, «о государе Николае Павловиче, также во время холерного бунта в 1831 г. усмиравшем на Сенной площади народ одними площадными ругательствами». Свидетельство по большей части тем, что характеризует само гостинодворское купечество, а никак не монарха.

Куда более правдоподобную, близкую к словам Бенкендорфа, версию опубликовало в свое время Общество истории и древностей российских при Московском университете: «Государь Император прибыл в коляске с Князем Меншиковым на Сенную площадь, остановился у самой церкви Спаса, и говорил народу, окружающему Его, следующую Речь:

„Не кланяйтесь Мне, а падите на колена, поклонитесь Господу Богу, просите помилования за тяжкое прегрешение, вами вчера учиненное. Вы умертвили Чиновника, пользовавшегося ваших собратий, нарушили тишину и порядок, осрамили Меня перед светом. За вас, за вас всех, обязан я, по силу присяги Моей, дать ответ Царю Царей. Возможно ли мне сие исполнить после тяжкого вашего прегрешения? Не узнаю я в вас Русских: что, Французы ли вы, или Поляки? Сии последние уморили возлюбленного Моего: так и вы со мною хотите то же сделать! Но я уповаю на Всевышнего Творца, стою здесь безбоязненно среди вас, вот и грудь Моя...“

Тогда народ, рыдая, воскликнул: „Согрешили пред Богом, но ради умереть за Царя, за Отца нашего!“ Государь возразил: „Умрете тогда, когда Богу угодно то будет; лягу и Я с вами, но теперь повелеваю вам: Падите ниц пред Богом, и теплыми молитвами укротите праведный гнев его, возвратись в дома ваши и исполняйте приказания Военного Генерал-Губернатора, как собственные Мои повеления! Кто облечен Мною властью, того слушайтесь!“

Тут народ закричал: „Ура!“ – и разошелся».

По сути, с версией Бенкендорфа это свидетельство расходится лишь в деталях – и возможно, стоило бы считать его достоверным. Тем более, что от него также немногим отличается изложение царской речи Василием Андреевичем Жуковским в его письме принцессе Луизе Прусской: «Представьте себе эту прекрасную фигуру, этот громкий и звучный голос, этот внушающий и строгий вид, и эту толпу, накануне столь мятежную, столь сильную в своей смуте и теперь, столь спокойную, столь покоренную присутствием самодержавного величия и магическим обаянием героической отваги. Вот слова, им произнесенные: „Венчаясь на царство, я поклялся поддерживать порядок и законы. Я исполню мою присягу. Я добр для добрых: они всегда найдут во мне друга и отца! Но горе злонамеренным: у меня есть против них оружие! Я не боюсь вас, вам меня бояться! Нам послано великое испытание: зараза! Надо было принять меры, дабы остановить ее распространение: все эти меры приняты по моим повелениям. Стало быть, вы жалуетесь на меня: ну, вот я здесь! И я приказываю вам повиноваться. Вы, отцы семейств, люди смирные, я вам верю и убежден, что вы всегда прежде других уговорите людей несведущих и образумите мятежников! Но горе тем, кто позволяет себе противиться моим повелениям! К ним не будет никакой жалости! Теперь расходитесь! В городе зараза! Вредно собираться толпами. Но наперед следует примириться с Богом! Если вы оскорбили меня вашим непослушанием, то еще больше оскорбили Бога преступлением: совершено было убийство! Невинная кровь пролита! Молитесь Богу, чтоб Он вас простил!“. При этих словах он обнажил голову, обернулся к церкви и перекрестился. Тогда вся толпа, по невольному движению, падает ниц с молитвенными возгласами. Император уезжает, и народ тихо расходится, наставленный и проникнутый сознанием своего проступка. Минута единственная!».

Расхождения с Бенкендорфом и здесь больше в длине речи, чем в ее содержании. При этом Жуковский заверял принцессу, что «речь, которую я привел вашему высочеству, была мне пересказана слово в слово князем Меншиковым, находившимся в коляске с императором в те минуты, когда он говорил народу, и потому имевшим возможность не проронить ни одного звука».

Содержание речи известно? Однако вот какое обстоятельство: некоторым другим мемуаристам, вполне ответственным и осведомленным, сцена на Сенной представлялась все-таки иначе. Александру Павловичу Башуцкому, например: «Государь встал, сбросил запыленную шинель, перекрестился перед церковью, поднял высоко руку и, медленно опуская ее, протяжно произнес только: „На колени!“». Едва раздался этот звук над залитою тридцатью и более тысячами народа безмолвною площадью, по мановению этой руки все, как один человек, опустились на колени с обнаженными и поникшими головами...

– Что вы сделали? – строго спросил тот же звонкий голос, доходивший до каждого слуха. – Бог дал мне власть карать и миловать вас, но этого преступления вашего даже и я простить не могу! Все виновные будут наказаны. Молитесь! Ни слова, ни с места! Выдайте зачинщиков сию же минуту!

Государь передал свое повеление графу Эссену, перекрестился пред тою же церковью и изволил отбыть».

Выдача зачинщиков – новый мотив, дотоле еще не звучавший.

Еще один тогдашний петербуржец, Иван Романович фон дер Ховен, особо недоволен был рассказом Жуковского, считая его художественной фантазией: «Кто знал пылкий, энергический характер императора Николая, проявлявшийся в каждом слове, в каждом жесте его, тому трудно предположить, чтобы он в эти тяжкие минуты стал распространяться с народом длинною, впрочем весьма красноречивою, речью, какую В.А. Жуковский влагает в уста его... Сколько раз мне случалось слышать его в лагерях, на маневрах при отдании приказаний, и всегда и во всем я не замечал ни вялости, ни растянутости, как это выразил В.А. Жуковский в сочиненной им речи».

В общем, расхождения и расхождения. Поневоле приходит на ум старый афоризм, столь любимый историками: «Врет, как очевидец».

А может, все расхождения объясняются простым обстоятельством: царских речей в тот день была не одна, а несколько. Вот что записал тогда в дневнике бывший секретарь Екатерины II Адриан Моисеевич Грибовский: «Встретил Государя, который на Сенной и у Гостиного двора три раза с народом говорил из коляски, приказал стать пред ним по старине на колени и, вспомнив со слезами о смерти брата от холеры, уверял народ, что холера есть, и что меры правительством приняты по его указу. „Что вы наделали? – говорил он. – Вы убили людей, приставленных от меня для вашего спасения. Это на моей совести остается; но всякий из виноватых будет строжайше наказан за малейшее впредь сопротивление распоряжениям правительства. Чего вы хотели?“ Но никто не смел ему ничего сказать, вероятно, оттого, что был он в большом гневе».

О том же и Жуковский: «Несколько раз он останавливается для разговора с теми, кто теснился вокруг самой его коляски».

Были еще и обращения к войскам, о которых вспоминает Бенкендорф: «В тот же день он объехал все части города и все войска... Везде он останавливался и обращал по несколько слов начальникам и солдатам; везде его принимали с радостными кликами, и появление его водворяло повсюду тишину и спокойствие».

Как минимум три разговора с народом и еще несколько с войсками. Так что место могло найтись и для короткой речи, и для пространной. И для одних слов, и для других. Разве что мата не было наверняка: не в стиле монарха это было.

Но пора уже завершать этот сюжет. Каков оказался эффект монаршего визита в столицу? Василий Андреевич Жуковский заверял принцессу Луизу, что «с этой минуты все пришло в порядок». О том же и Бенкендорф: «Порядок был восстановлен, и все благословляли твердость и мужественную рачительность Государя. В тот же день он назначил своих генерал-адъютантов князя Трубецкого и графа Орлова в помощь графу Эссену, распределил между ними многолюднейшие части города».

Так в столице появились два временных военных генерал-губернатора: генерал от кавалерии князь Василий Сергеевич Трубецкой – он управлял Литейной, Каретной и Рождественской частями, и генерал-лейтенант граф Алексей Федорович Орлов – ему вверили 3-ю Адмиралтейскую часть, а днем позже еще и Московскую часть.

Впрочем, рано еще было радоваться общему спокойствию. Успокоительное действие царского визита проявилось не сразу; в тот же день 23 июня инциденты случались самые неприятные. Александр Васильевич Никитенко записывал в дневнике:

«Возле моей квартиры чернь остановила сегодня карету с больными и разнесла ее в щепы.

– Что вы там делаете? – спросил я у одного мужика, который с торжеством возвращался с поля битвы.

– Ничего, – отвечал он, – народ немного пошумел. Да не попался нам в руки лекарь, успел, проклятый, убежать.

– А что же бы вы с ним сделали?

– Узнал бы он нас! Не бери в лазарет здоровых вместо больных! Впрочем, ему таки досталось камнями по затылку, будет долго помнить нас».

Сохранились документы и об инциденте, произошедшем днем позже, 24 июня, на углу Усачева переулка, где пьяная толпа избила ехавшего на дрожках штабс-капитана Михайлова. После того, как за офицера вступился коллежский секретарь Павел Крупеников, побили и его, а затем поволокли через Никольский мост в полицейскую часть. Разумеется, этот инцидент не был единственным. Адриан Моисеевич Грибовский записывал 24 ноября, что народ «начал вопить, что их отравливают, стал ловить поляков, жидов и других иностранцев и находить у них мышьяк и другие ядовитые вещи и колотить их. Войска пешие и конные разъезжали по улицам и площадям, приказывая народу расходиться по домам».

В общем, совсем не случайно в тот же день 24 июня Петр Кириллович Эссен вынужден был подкрепить эффект от царских речей предостерегающим официальным заявлением: «От Санктпетербургского Военного Генерал-губернатора объявляется, что после распоряжений Правительства, всенародно опубликованных и имеющих целью сохранение тишины и спокойствия в Столице, остается ожидать, что никто не подаст повода к обращению на себя сомнения в составлении неблагонамеренных скопищ или в причастности к оным. Посему никто из людей благомыслящих не должен присоединяться к толпе, если бы где таковая дерзнула появиться, дабы, при исполнении принятых Правительством мер, невинные не пострадали вместе с виновными. Притом, на основании Устава Благодения, предворяется всякий, что если после одиннадцати часов по полудни и до пяти часов по полуночи, патрули и разъезды откроют даже до пяти человек вместе собравшимися, то все таковые будут забираемы под стражу, как нарушители общего спокойствия».

Тогда же, 24 июня, роте дворцовых гренадеров было приказано на всякий случай «на всех постах сверх сюртуков иметь тесаки и патронные сумки с боевыми патронами и с ружьями» (этот приказ отменили 7 августа).

Приступила к работе и следственная комиссия для изыскания виновных в происходивших возмущениях, созданная под руководством Александра Христофоровича Бенкендорфа. В особом заявлении военного генерал-губернатора на этот счет говорилось: «При случившихся на сих днях в некоторых частях города беспорядках, люди, взятые в буйстве и неповиновении, и другие, приведенные к начальству частными жителями города, с обвинением их в покушениях к нарушению общественного благочиния и спокойствия, задержаны под арестом.

Для исследования поступков сих людей, изобличения и предания суду виновных из них, и освобождения тех, которые могли бы оказаться невинным, Государь Император повелел составить особенную Следственную Комиссию, которая уже начала свои действия».

В Петропавловскую крепость за четыре дня с 23 по 26 июня взято под стражу 172 подозреваемых; некоторые ожидали своей участи в других местах заключения. Как установил в свое время историк царской тюрьмы Михаил Гернет, участники холерного бунта сидели в Невской, Петровской и Никольской куртинах, в бастиях Анны Иоанновны, Екатерины I, Зотова и Трубецкого, на карауле у Петровских ворот и на гауптвахте у Невских ворот – одним словом, по всей крепости. (Известно, moreover, что многих арестованных в конце концов отпустили на свободу без уголовного наказания. По бунту у дома чиновницы Славищевой

освободили большую часть задержанных, лишь зачинщикам назначили розги и церковное покаяние. А тех, кто избивал штабс-капитана Михайлова приговорили к 15 ударам плетью публично и высылке из столицы навечно...)

Постепенно город втягивался в жизнь при холере. Перед больницами стояли пикеты, разбитые крыши и палаты восстанавливались. Шли в ход и новые увещевания. В заявлении военного генерал-губернатора от 24 июня 1831 года говорилось: «Государь Император, узнав о сих неожиданных и крайне огорчительных для Его сердца происшествиях, Высочайше повелел мне поставить в пример обывателям здешней столицы похвальное и достойное подражания поведение жителей первопрестольного града Москвы, уверенностью в полезных действиях Правительства и усердным исполнением предписанных им правил, соответствовавших благим намерениям Государя Императора и тем избавивших себя от грозившей им гибели.

Здесь, в Санктпетербурге, принимаются те же самые меры, как и в Москве, то есть те, которые по опыту дознаны самыми необходимыми и полезными для прекращения губительной холеры. Никого силою не принуждают отправляться в больницы, предоставляя всякому, кто имеет на то способы, лечиться в своей квартире. В больницах же принимают только тех, которые не в состоянии с успехом пользоваться себя дома, и без врачебного пособия, без надлежащей пищи могут сделаться жертвами жестокой болезни. Посему все жители города приглашаются Начальством успокоиться на сей счет, заняться своими обыкновенными упражнениями, и во всем положиться на попечение благонамеренного Правительства и на помощь Всевышнего».

Насчет «никого силою не принуждают», как мы знаем, Эссен приукрасил действительность — но после бунта тащить людей в лечебницы и в самом деле перестали. Было даже издано особое распоряжение генерал-губернатора, прибитое на углах улиц: «Занемогаемые холерою могут, по желанию своему, оставаться для лечения дома, на своих квартирах, полиция же отнюдь не будет вмешиваться ни в отправление больных, ни в принятие их в больницы, а будет только получать сведения от домовладельцев о заболевших».

Отдельно предупреждал генерал-губернатор о последствиях буйного поведения, если таковые случаи снова повторятся: «Если же, сверх всякого чаяния, увещания сии не действуют, то к прекращению непозволительных скопищ будут приняты действительные меры, а виновники сих беспорядков и разглашатели нелепых и лживых слухов будут преданы суду, и наказаны по всей строгости законов».

И все-таки инциденты не прекращались. Константин Яковлевич Булгаков так описывал поведение простолюдинов: «Стали они сами забирать тех, кои, по слухам, кидали порошки в лавочках на разные припасы съестные и питейные, и представлять их на гауптвахты; но дорогою их так колотят, что приводят всех избитыми, и привязываются к тем у коих находят укус, хлор и тому подобное; этим также доставалось порядочно».

Осип Антонович Пржецлавский, живший тогда неподалеку от Ордонансгауза (Комендантского управления на Садовой улице), вспоминал, что «видел множество несчастных, задержанных Бог весть за что»: «Я видел, как толпы народа отводили их туда избитых и окровавленных. Таким образом отведено и заарестовано было более 700 человек всякого звания, большею частью иностранцев и людей средних классов... Подобное возбужденное состояние в среде необразованных классов, подозрение в отравлении народа и последствия его, уличные беспорядки, повторились почти во всей Европе во время холеры. В Петербурге это состояние усложнилось и приняло определенную форму от случайного совпадения эпидемии с польским мятежом. Знаменитый медик, гражданский генерал штаб-доктор С.Ф. Гаевский говорил мне, что такое волнение умов и расположение к насилиям, по его мнению, есть одно из отличительных свойств господствующей в холеру ауры (aura), наводящей на массы род временного умопомешательства. Кроме климатических и гигиенических условий, луч-

шим противодействием этой ауре служит распространенная в народных массах образованность. В подтверждение такого взгляда Гаевский сослался на пример Англии и Швеции, где холера не вызвала беспорядков».

Писатель Николай Лейкин рассказывал про эпизод, который случился тогда же с его отцом: «Любил отец рассказывать, как он во время холеры в 1831 г. был схвачен на Чернышовом мосту стоявшими тогда на набережной Фонтанки и взбунтовавшимися ломовыми извозчиками, искавшими поляков, будто бы отравлявших воду. Его приняли почему-то за поляка, обыскали и нашли у него в кармане банку ваксы. Дабы доказать, что это не отравка, отец должен был отхлебнуть из банки малую толику ваксы и тем спастись».

Еще один случай несколько иного свойства произошел в девятом часу утра 25 июня. Служители фонарной команды, назначенной для поднимания с улицы заболевших и умерших от холеры, получили сообщение, что на левой стороне Лиговского канала лежит покойник. Человек, однако, оказался еще жив, хоть и при смерти. Его посадили на дрожки, толпа численностью человек двадцать окружила экипаж, а проезжавший мимо частный медик Каретной части штаб-лекарь Костылев бегло осмотрел человека и признал его мертвым.

Уже после этого в больном заметили признаки жизни. И хотя он уже скоро в самом деле умер, толпа пришла в возмущение. Когда через четверть часа Костылев ехал обратно, его стащили с коляски и начали бить. Подоспевший патруль по требованию толпы связал доктора и отправил на квартиру. Позже по итогам следствия арестовали четырех ямщиков Московской части; год спустя решением Сената троих из них освободили, а одного зачинщика Алексея Горохова приговорили к 25 ударам плетью «при собрании ямщиков».

В общем, совсем не случайно военный генерал-губернатор Эссен вынужден был в тот же день 25 июня 1831 года издать новое грозное объявление: «Некоторые частные люди, большею частью из простого народа, вздумали останавливать, обыскивать и даже обижать разных прохожих по улицам, нюхавших уксус в стекляночках и хлориновые порошки в бумажках, под тем предлогом, будто они имели в сих стекляночках и бумажках яд, коим хотели отравить пищу и питье. По строгом исследовании оказалось, что все сии подозрения были напрасные, что никто из взятых по сему случаю не был намерен отравлять что-либо и не имел при себе никакого яду, и что все сии подверглись подозрению и обидам без малейшей вины с их стороны и без всякого повода. Ношение же при себе и нюхание уксуса и хлориновых порошков есть единственное предохранительное средство от заражения болезнью холерою.

Извещая о сем обывателей здешней столицы, Начальство оной запрещает частным людям останавливать, обыскивать и брать под страху кого бы то ни было, ибо наблюдение за порядком и благочинием города есть должность установленных на то властей. – Если же кто, после сего объявления, дерзнет на подобное самоуправство, тот будет наказан, как нарушитель общественного спокойствия».

26 июня Николай I снова посетил Петербург – и остался удовлетворен тем, что не заметил «непозволительных сборищ, которые были там в прежние дни». Впрочем, исследователи биографии В.И. Ленина утверждают, что именно в тот день 26 июня погиб двоюродный дед вождя пролетарской революции Дмитрий Дмитриевич Бланк. «Обезумевшая толпа вновь ворвалась в помещение Центральной холерной больницы и выбросила из окна третьего этажа дежурившего в этот день штаб-лекаря Д.Д. Бланка».

Ошибаются исследователи: никакой Центральной холерной больницы в Петербурге не было. А вот происшествие с Бланком в самом деле имело место: об этом мы знаем из переписки Сергея Семеновича Уварова, где так и сказано: «Выброшен из окна третьего этажа на улицу».

В письме Константина Яковлевича Булгакова брату от 26 июня содержится и другая информация: «Толпы эти все добираются до докторов, и говорят, человек трех избили, так что они умерли».

Нет, не прекратились еще в Петербурге беспорядки. И продолжали ползти по городу слухи, слухи, слухи... Адриан Моисеевич Грибовский, дневник от 26 июня: «Слухи, что Поляки подсыпают и разливают яд, все еще бродят не только в народе, но и в людях несколько образованных. А.М. Крыжановский рассказывал, что на полу разлитый Поляком и засохший яд через четыре дня собранный при нем на сахар, дан был собаке, у которой тотчас оказались признаки холеры и которая через два часа в конвульсиях и с воем издохла. Поляка этого прежде еще взяли жившие в этом доме люди и отдали военной команде; при обыске найдено у него много ассигнаций и скляночки с составом. Сегодня же отвезли к военному губернатору доску, на которой разлит был яд и умершую собаку».

Авдотья Яковлевна Панаева: «Каждый день наша прислуга сообщала нам ходившие в народе слухи, один нелепее другого: то будто вышел приказ, чтобы в каждом доме заготовить несколько гробов, и, как только кто захворает холерой, то сейчас же давать знать полиции, которая должна положить больного в гроб, заколотить крышку и прямо везти на кладбище, потому что холера тотчас же прекратится от этой меры. А то выдавали за достоверное, что каждое утро и вечер во все квартиры будет являться доктор, чтобы осматривать всех живущих; если кто и здоров, но доктору покажется больным, то его сейчас же посадят в закрытую фуру и увезут в больницу под конвоем».

И все-таки постепенно раздражение и злость стали уступать место страху: холера наступала, с каждым днем все больше гробов отправлялись на кладбища. Народные бунты отчасти подстегнули эпидемию; тот же Булгаков справедливо замечал, что после разгрома больниц «Бог знает, что сделалось с больными и сколько они распространили болезнь». Данные официальной статистики красноречивы: если 21 июня холерой заболели 152 человека, а умерли 67, то уже 22 июня – 223 и 106; 24 июня – 240 и 119. И хотя 25 июня болезнь, казалось, пошла немного на спад – 254 и 113, – следом за тем эпидемия снова перешла в наступление:

26 июня – 399 заболевших и 156 умерших;

27 июня – 525 заболевших и 177 умерших.

Александр Васильевич Никитенко записывал 27 июня: «Тяжел был вчерашний день. Жертвы падали вокруг меня, пораженные невидимым, но ужасным врагом... В сердце моем начинает поселяться какое-то равнодушие к жизни. Из нескольких сот тысяч живущих теперь в Петербурге всякий стоит на краю гроба – сотни летят стремглав в бездну, которая зияет, так сказать, под ногами каждого».

Адриан Грибовский отмечал в дневнике днем позже: «Смертность умножается, но движение в народе прекратилось. Сегодня умерла жена Егора Андреевича Каховского от поноса и рвоты, но, кажется, без страданий; остались три дочери... Похоронили без отпевания. На каждом кладбище по 200 покойников в сутки хоронят».

Двести в сутки на каждом кладбище – это, конечно, преувеличение, но эпидемия холеры и вправду подошла к пику. Среди умерших в те дни были профессор петербургского Университета Николай Прокофьевич Щеглов, автор популярнейших тогда пособий по физике (ушел из жизни 26 июня), протоиерей придворной Конюшенной церкви Петр Георгиевич Егоров (также 26 июня), комический актер придворной труппы и первый исполнитель роли Фамусова в «Горе от ума» Василий Иванович Рязанцев, живописец Никифор Степанович Крылов, признанный Алексеем Гавриловичем Венециановым многообещающий

мастер, чья жизнь оборвалась на 29-м году, книгопродавец и издатель Алексей Иванович Заикин (все трое 28 июня).

Постепенно столица погрузилась в страх; многие постарались бежать из нее как можно дальше (распространяя при этом как саму заразу, так и панические настроения и слухи об злонамеренных отравителях простого народа).

Скоро уже грянули холерные волнения в Старой Руссе – но за пределы нашей темы они выходят, поэтому обойдемся лишь цитатами из манифеста от 6 августа 1831 года «О смятении, бывшем в некоторых Губерниях и Санктпетербурге, по случаю разнесшихся нелепых слухов о мнимых причинах смертности при появлении эпидемической болезни холеры», которая заодно подытожит тему повествования:

«Посвятив все действия и мысли Наши попечению о благе Богом врученного и любезного Нам народа, Мы видели с сокрушенным сердцем распространение эпидемической болезни холеры в пределах Империи Нашей»;

«Болезнь, быстро распространяясь по путям водяного сплава, около половины Июня достигла Столицы. Немедленно все нужные меры, еще в минувшем году приготовленные, были приняты. Но простой народ, сомневаясь в необходимости и пользе оных и подстрекаемый злонамеренными людьми, покусился насильственно сопротивляться распоряжениям Начальства: в безрассудной злобе устремился на блюстителей порядка и на Врачей, жертвовавших жизнью для облегчения страждущего человечества, и пришел в чувство только тогда, когда личным присутствием Нашим уверился в справедливом негодовании, с каким узнали Мы о его буйстве; когда уверился, что нарушители общего покоя и благоустройства не избегнут достойного наказания.

Вслед за сим разнеслись нелепые слухи о мнимых причинах видимой в народе смертности. Не взирая на объявления, изданные Правительством для всеобщего успокоения, легковверные усумнились в существовании заразительной болезни, донныне в России незнаемой, но известной во многих странах Востока и ужасными опустошениями бытие свое ознаменовавшей, и приписали бедствие свое отраве. Сии разглашения не имели в Столице важных последствий; но распространяясь в некоторых Губерниях, и особливо на пути из Санктпетербурга в Москву, подали повод к смятениям и неустройствам»;

«В тех местах, где жители с верою и надеждою на Бога встретили ниспосланное от Него бедствие и с верноподданническою покорностью последовали всем велениям Правительства, семя заразы истреблено в непродолжительном времени: и в самой Столице, по восстановлении порядка, ныне болезнь видимо прекращается».

1831–1832 годы. «Теперь народ верит холере и ужасно ее боится»

Манифест, напомним, от 6 августа – а у нас на дворе пока конец июня. И страх, страх, страх. Особо ужасала современников стремительность и безжалостность холеры: еще утром человек мог быть совершенно здоров, а уже вечером отправиться в последний путь. При этом усилия медиков слишком часто оставались тщетными.

В монологах, письмах, дневниках современников тогдашние настроения петербуржцев видны со всей очевидностью. Александр Васильевич Никитенко, 28 июня 1831 года: «Болезнь свирепствует с адскою силой. Стоит выйти на улицу, чтобы встретить десятки гробов на пути к кладбищу. Народ от бунта перешел к безмолвному глубокому унынию. Кажется, настала минута всеобщего разрушения, и люди, как приговоренные к смерти, бродят среди гробов, не зная, не пробил ли уже и их последний час».

Княгиня Надежда Ивановна Голицына позже использовала почти те же слова: «Целыми днями мы наблюдали одну и ту же картину: один гроб следовал за другим. Грусть и какая-то тоска овладели мною, особенно со смертью некоторых знакомых мне лиц... Холера пожинала свою жатву повсюду и наводила такой ужас, что все теряли голову».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.